



ПРОЗА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Петр Проскурин



ИСХОД

Петр Лукич Проскурин

Исход

Серия «Проза Великой Победы»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42562654
Исход: роман / Петр Проскурин: Вече; Москва; 2019
ISBN 978-5-4484-7835-2

Аннотация

В романе «Исход» Петр Проскурин (1928–2001) пишет о войне в тылу врага, на оккупированной гитлеровцами территории.

Жизнь в партизанском отряде требует мужества и выносливости, а в боевых операциях приходится терять товарищей. Но и здесь, в лесу, люди остаются людьми, вместе радуются своим успехам в борьбе с врагом, влюбляются и верят в будущее. Партизанский разведчик Владимир Скворцов, в мирной жизни сельский учитель, идет на свое последнее задание ради этой жизни и во имя этой веры.

Содержание

Начало	6
1	6
2	14
3	20
4	29
5	36
6	44
7	48
8	54
9	58
10	62
11	69
12	76
13	86
14	92
15	98
16	107
17	111
18	117
19	126
20	131
21	139
22	143

23	152
24	157
25	167
26	172
Конец ознакомительного фрагмента.	176

Петр Лукич Проскурин

Исход

© Проскурин П.Л, наследники., 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия,
2019

Начало

Посвящается Лиле

1

Лист кружится, падает медленно – сбитый взрывом, опаленный по краям, ложится мягко и бесшумно, и дорога в том месте, где стоял несколько минут назад старый клен, вся изрыта. А клен, старое, крепкое еще дерево, лежит, вырванный с корнем и отброшенный в поле наискосок от дороги, пропаленной зноем. Сухо, пыльно, пыль на губах, – сентябрь, но пока жарко, и пшеничные поля кругом в желтых крестцах. Водонапорная башня железнодорожной станции одиноко и серо торчит за пригорком, самолеты на время исчезли, и по дороге ползут подводы с детьми, две машины, перевернутые вверх колесами, горят черными густыми кострами.

У Лиды тонкие плечи; под ногами избитая, пересохшая земля. Последние минуты всегда трудны, не находишь слов, и Владимир старается быть веселым и ровным; сейчас это плохо удастся.

Они уже поднялись на пригорок, дорога здесь разворочена; не сговариваясь, они пошли полем.

На станции тишина, полуразваленные здания после оче-

редного налета еще дымились, людей не было видно. Только группа солдат исправляла железнодорожное полотно; временами то один из них, то другой поднимал голому, осматривая небо. А к станции все подходили и подходили обозы, рассылаясь по окрестным садам, палисадникам, полуразрушенным зданиям, – ждали темноты. В тупике разгружался военный эшелон – по шатким подмосткам сводили упиравшихся лошадей.

– Володя, ты что-нибудь понимаешь?

– Ты ничего не забыла? Теплые вещи не забыла? – вместо ответа спросил он ее. – Скоро зима, на Урале холодно.

– Теплую кофту? Да, я взяла... она, кажется, на самом верху и чемодане... Да, да... я вспомнила, она лежит сверху. Послушай, Володя, а ты? Как же все будет?

– Мне уже пора возвращаться.

– Зачем только ты согласился... Я знаю, я не то говорю, – торопливо добавила она, глядя на его лоб, на сдвинутые светлые брови. – Но ты береги себя, слышишь? Хочешь, я тоже останусь? – сказала она отчаянно. – Хочешь?

– Не глупи, – сказал он тихо, теряясь перед этим неожиданным порывом. – От состава не отстань, на станциях за кипятком не бегай. Кого-нибудь из ребят проси. Знаешь ведь, сейчас никакого расписания.

– Хорошо, давай простимся, Володя. Тебе пора...

Она поглядела на него и заплакала.

– Не плачь, – сказал он, с усилием разжимая стиснутые

зубы. – Мы еще встретимся. Пиши.

– И ты пиши.

– Вот увидишь, мы очень скоро встретимся и будет светлый день, такой снежный, белый. У тебя замерзнут руки, и ты будешь хлопать варежками.

– А ты будешь в полушубке и в валенках, – подхватила она с усилием его игру. – Побежишь мне навстречу – ты смешно бегаешь.

– Да, я буду в полушубке и в валенках. Только я никуда не побегу. Буду стоять и ждать, пока ты подойдешь. Ты будешь в толстом теплом платке.

– Это смешно?

– Что?

– Что я буду в толстом платке?

– Очень смешно. В толстом платке, с огромной головой.

– Правда, Володя, это очень смешно, когда с огромной головой. А ты, значит, будешь стоять на одном месте?

– А зачем мне бежать?

– Действительно, зачем тебе бежать? Ну, все, Володя, – выдохнула она из себя воздух. – Иди, иди! Тебе еще нужно найти своих. Смотри пиши мне. Иди.

– Лида...

Он быстро и сильно прижал ее к себе, поцеловал в солоноватые, горячие губы. Это было все, она поняла и снова заплакала.

– Иди, – сказал он.

– Володя...

Она уходила с пригорка, и сильный ветер прижимал платье к ее ногам, она была в сапогах и в сером жакете, жакет был ей длинноват. «Я должен ее догнать, – подумал Владимир тупо, до рези в глазах всматриваясь в ворот ее серого жакета. – Ну, хорошо, я ведь ее совсем не знал до сих пор, все это ерунда теперь, кто кого знает – не знает, к черту пошлет, к сердцу прижмет. Ведь все равно мне оставаться. Остаться. Зачем оставаться? Что это изменит? Какая из меня власть?»

«Власть остается на своих местах до отхода регулярных частей...»

Прошедшие два дня они эвакуировали старшекласников своей филипповской школы, и эти два дня в ушах непрерывно стоял плач, женские причитания и паровозные гудки; и Скворцов и Лида падали с ног от усталости и очень сблизились в два дня.

А раньше он даже считал Лиду суховатой, и вот сейчас она уезжает, а он возвращается в Филипповку.

«Власть остается на своих местах до отхода регулярных частей...»

Секретарь сельсовета... Ну и что? Это же не танк и не оружие. Да и какой он секретарь – Владимир Степанович Скворцов? Он – учитель, белобилетчик, и все потому, что его угрозило свалиться с ракиты еще мальчишкой...

Лида так и не оглянулась, он шевельнул пальцами, пальцы

были как деревянные. Он еще постоял и пошел обратно, загребая носками сапог сухую пыль. Получасом позже он был уже далеко в поле, пошел напрямик, и за поворотом на Филипповку сразу же оказался в огромном стаде коров, куда он ни глядел – волнистая рябь пегих, белых, бурых, черных спин, рога, хвосты, уши, опавшие бока, рев и сап. Коровы жались друг к другу, обходя его стороной, поднимая пыль, вместе со стадом на него надвинулось душное, горячее марево, лицо и грудь сразу взмокли.

«Дела, поглядишь... – пробормотал он, растерянно оглядываясь, отыскивая, в какую сторону выбраться. – Откуда их нанесло?» Он угрожающе махнул рукой, закричал на тупорогую бычью морду, лезшую прямо на него, и встревоженно поднял голову: в густом реве стада он услышал далекий, прерывистый гул самолетов. За пылью ничего не было видно, мимо него верхом на корове проехал сухонький старичок с длинной трубкой в зубах – Владимир протер глаза, изумленно поглядел ему вслед. Гул накрыл неожиданно, и Владимир бросился в сторону от дороги, в поле, упал ничком под первый крестец и сжал голову руками – он еще не мог привыкнуть к дикому реву неба. Это длилось всего несколько секунд. Он поднял голову. Самолеты шли низко, по полю мчались их огромные тени, один из них черно сверкнул по солнцу, и сразу же стали рваться бомбы. Они рвались в самой середине стада с раздирающим уши грохотом. Коровы, высоко задирая головы, мчались по полю, а самолеты уже

заходили опять, и опять рвались бомбы, и коротко стучали пулеметы, и потом уши у Владимира словно заткнуло плотной сухой пробкой, и он подумал о Лиде, перед ним мелькнул ее серый жакет. Он, пошатываясь, встал и никак не мог понять, что вокруг происходит и где он, и долго мотал головой, стараясь освободиться от непривычной, давящей тишины в ушах. «Фу, черт!» – выругался он, когда из ушей словно потекла тяжелая тишина и опять донесся рев, грохот и треск. Он оторопело попятился, прямо на него скачками неслась красная, с рогами вразлет, корова. Она с маху остановилась перед ним, шумно пахнула ему в лицо горячим воздухом и метнулась дальше, твердо отставив хвост. Он оглянулся и увидел сухого старика, с трубкой в губах, которого видел совсем недавно верхом на корове. Старик сидел, опершись о землю обеими руками.

Владимир присел перед ним, молча разглядывая его мягкие кожаные сапоги, матерчатые штаны на тонких старческих ляжках, вздрагивающие темные щеки, низкий лоб и маленькие, еще бессмысленные глаза. И обкуренную трубку в зубах.

Владимир сел на колкое жнивье и засмеялся, неловко закидывая голову назад. Трубка в зубах у маленького старика зашевелилась, он поднял руку, взял трубку, поморгал и спросил:

– Ты чего?

Новый приступ смеха заставил старика заерзать.

– Тю-тю! Ты чего, родимчик схватил? Холера ты, холера! – ругался старик, оглядываясь по сторонам и ища глазами. За спиной у него болтался холщовый мешок с большим, перегнутым вдвое хохолком. – Зорька! Зорька! Зорька! Ах, чтоб тебя заненастило!

– Ты кого зовешь? – спросил Владимир, и старик на минуту умолк, посмотрел на Владимира и зло сплюнул.

– А тебе что? Ее, проклятую, на чем я теперь поеду? У меня ноги порченые, двух верст не ушагаю. Зорька! Зорька! Зорька! Ах, дура корова, сколько с ней мучился, пока приспособил! – Он, кряхтя, поднялся.

– Вы откуда, отец?

– Гомельчане, переверни тебя в три погибели! – Старик покосился на небо. – Силен, вражья душа! Как ястреб на курочку – хап-хап! Месяц целый долбит и долбит, мы туды – и он туды, мы сюды – и он сюды.

Старик шагнул к Владимиру, остановился над ним.

– Так-то нас учить, милый. Он долбит, а ты сидишь, ржешь. Дурак, чего ржешь жеребцом?

– Я?

– То оно и есть – ты. – Старик рассерженно обдернул на себе рубаху.

– Так на корове...

Старик отвернулся, он не желал больше терять времени, сунул в зубы трубку и вприпрыжку кинулся куда-то в сторону.

Солнце садилось, и над полями и дорогами начинало гаснуть небо, из оврагов и капав сочились легкие сумерки, и оттуда, где была станция, донесся короткий гудок паровоза.

2

– Ну что, проводил? Все в порядке?

– Не знаю. Ночью должны отправить. Чего мы-то сидим?

– Армия пойдет, и мы пойдём.

– А успеем?

– Народ не бросишь, Владимир Степанович. Вот и мне пришлось на старости лет в начальстве походить.

– Вчера Киевским шляхом всю ночь войска шли.

– У нас беженцы опять. Все село забито, хоть разорвись – детишек кое-как разместили, взрослые во дворах и сараях.

– Пока ночи теплые, ничего.

На завалинке у избы Егора Ивановича Родина сухо, кусты сирени совсем закрыли окна. Луна взошла, светит с другой стороны, и тень от избы горбится далеко на дороге. Безветренно, запах дыма тянет со всех концов – беженцы варят похлебку, устали за долгий тяжелый день, голодные ребятишки никак не могут угомониться.

– Страдает народ, – сказал Егор Иванович, прислушиваясь. – А уж чем детишки-то виноваты? Вот Юрка, шельмец, ушел к тетке в Черный Лог. Не хочу его оставлять, скоро шестнадцать парню. Завтра должен вернуться. А лошадь с телегой у меня во дворе – держу на всякий случай.

– Четыре ноги, одна голова... Далеко ускачем.

Ночь разгоралась, Егор Иванович курил, и махорка в са-

мокрутке горела с легким треском. На улицах села слышался говор, огней не видно – запрещено, да и боялись: сверху то и дело слышится гул, иногда можно различить в ясном, звездном небе темные скользкие тени самолетов.

Кто-то из мальчишек, задыхаясь от бега, влетает на крыльцо:

– Дядя Егор! Дядя Егор! Наши войска опять пошли. Страсть. Шляхом идут!

Егор Иванович, докуривая, еще раз затынулся, разглядывая мальчишку, чесавшего от волнения одну ногу другой.

– Это ты, Митёк? Так что там?

– Войска, шпорю, пошли.

– А, ну ладно, ступай. Тебе спать давно надо. Войско войском, а тебе спать надо. Ступай.

Мальчишка сошел с крыльца, сделал несколько степенных шагов и сорвался в бег, исчез в темноте.

Егор Иванович похлопал себя по карманам, ища спички.

– Давай тащи свое барахло ко мне, – сказал он наконец. – Дождемся зорьки, двинемся. Пойдем посмотрим, – предложил он и первый сошел с крыльца, ступени под ним прогибались, поскрипывали.

Село, встревоженное, из края в край гудело, хлопали двери, люди стояли толпами, бабы переговаривались через улицу. Беженцы возились у своих телег, машин и тележек, плакали дети, кто-то кого-то потерял и, разыскивая, бегал по селу. В разных концах слышался встревоженный женский

голос: «Маруся! Марусенька! Маруся!» Ржала лошадь, из-за огородов доносился тяжелый и плотный шум движения большой массы людей, машин, конных обозов, редко и методично, с ровными интервалами пронзительно скрипело тележное колесо. Пахло горелым углем и дымом, знакомое село с улицей, заставленной подводами и грузовиками, с встревоженно движущимися тенями людей, с твердым шумом движения, доносившегося со шляха за огородами, вызывало щемящее чувство зыбкости, обреченности и заброшенности. Звезды над селом высыпали крупно. Егор Иванович поглядел на них, задрал голову, и сказал:

– Пойдем, Владимир Степанович, на огороды, надо самим увериться.

Они перелезли через изгородь, прошли по грядкам огурцов и помидоров, потом по картофельной меже к концу огорода, перелезли еще через одну изгородь и вышли на гусиный выгон. Выеденная, выщипанная птицей земля, с жесткой, совсем короткой травой, твердо шла под ноги, была непривычно матовой от обильно упавшей росы. За выгоном, за глубокой канавой начинались темные конопляники.

– Хороша конопля уродилась, – сказал Егор Иванович, раздвигая перед собой терпко, почти дурманно пахнущие, высокие и крепкие стебли. – Добро пропадает, как подумаешь.

– В этом году и пшеница хороша, Иванович.

– Как на пропасть. Коноплю брать пора, сыплется.

– Тише, Иванович, шарахнут с дороги, сейчас долго не будут разбираться. Немцы парашютистов забрасывают в тылы.

Скоро они остановились и стали глядеть сквозь поредевшую к шлиху коноплю на шумный усталый поток из солдат, орудий, тракторов, ионных обозов, кухонь. Взошла луна, – огромная, жидкая, она уже показалась на две трети, оторвалась от темного горизонта нижним краем, сразу уменьшилась и поползла в небо. На шляху, перекрывая шум и лязг, кто-то мальчишески звонко, с надсадой, закричал:

– Кирюшкин! Кирюшкин! К комиссару! Э-эй! Степанов!

Егор Иванович послушал, как, перекатываясь и замирая, но шляху передавалось разноголосно: «Степанов! К комиссару!», помедлил и молча повернул назад.

– Ну что решаем, Егор Иванович?

– На зорьке двинемся. Юрка иль не поспеет? Жалко парня бросать.

– Придет.

– Придет, не придет... Собирай там какие пожитки, приходи ко мне. Чуть развиднеет – тронемся.

В лунном свете лицо у Егора Ивановича голубовато-блеклое, лоб, под козырьком фуражки, в тени, белки глаз тоже светятся голубоватой белизной.

Владимир сдернул со стебля конопли высохшую головку, помял в кулаке, на ходу пересыпал с ладони на ладонь, выдувая мякину, и бросил прохладные тяжелые зерна в рот, захрустел ими, во рту стало терпко.

Когда выбрались на край поля, к гусиному выгону, Егор Иванович, по-молодому, с ходу перескочив канаву, тут же негромко крикнул и неловко опустился на бровку канавы, нащупывая землю левой рукой.

– Опять в груди зашлось, – тихо сказал он и, чуть погодя, попросил: – Пересидим чуток, покурим.

– Вот курить-то тебе и нельзя, Иванович. Посиди так.

Владимир сел рядом, опустил ноги в канаву.

– Измажешься, Владимир Степанович. Гуси понасыпали тут.

– Ничего.

Егор Иванович подождал, пока сердце немного успокоилось, достал кисет и закурил. Владимир втянул ноздрями душистый махорочный дым, потянувший по-над землей. Хотелось курить самому, лень было достать папиросы, прикуривать.

– Вот так оно и бывает, – сказал Егор Иванович. – Жили-жили, а теперь? И когда она, жизнь, прошла? То бедность, одна коровенка у батьки, то колхоз собирали, тянулись из последнего, а теперь вот тебе – старость за грудь хватает. Немец идет. Вот ты, Владимир Степанович, человек грамотный, скажи: чего они хотят?

– Кто?

– Немцы. Я говорю: чего хотят? Читаю их листочки – прут, собачьи дети!

– Облегчить нам с тобой, Иванович, бренную жизнь хотят.

– А кто их просил? Нет, ты скажи: кто их просил? Не могу больше, вот точно тебя душат. Накинули петлю и тянут. Все рухнуло, разломилось.

– Ничего не рухнуло, – отозвался Владимир, крепче прижимаясь затылком к земле и шире раскрывая глаза на голубовато-изменчивую большую звезду с неровным острым сиянием. – Ничего не рухнуло, – повторил он, вскакивая и отряхивая брюки.

– Молод ты, Володька. – Егор Иванович не шевелился и лишь густо и часто пыхал дымом, было слышно, как, сгорая, жарко потрескивает сигарка. – Я тебя сопатым знал, а сейчас ты детей учишь, учителем стал. Владимиром Степановичем вон величают. Парнем-то каким тихим был, хоть помнишь?

– Что ты, Иванович, об этом ли сейчас думать? Пошли, Иванович, пора, собраться еще надо.

– Что там собираться. Хлеба да сала кусок да вожжи в руки. Ах, Юрка, стервец, как вспомню, кожа зудом идет... Ладно, пошли.

– Явится ваш Юрка, куда ему деться, – отозвался Владимир, шагая за Егором Ивановичем по мокрой от росы меже.

3

Владимир подходил к избе Егора Ивановича по тропинке у самых изгородей, за которыми тяжело стояли в полном безветрии старые сады, – редкий хозяин не имел в Филипповке сада; сливы, вишни, яблони и груши окружали избы со всех сторон, в урожайные годы с весны Филипповка превращалась в один белый гудящий улей – так много было цвета и пчел. А ближе к осени, если путник подходил к деревне по ветру, задолго обволакивало его тучными медвяными запахами шафрана, бергамота, душистой желтой сливы, фруктов бывало так много, что не успевали ни сушить, ни мочить, ни продавать, и они прели в кучах, расклеивались курами, скармливались свиньям. В такие годы детей почти не видели за столом – они обедались фруктами, маялись животами и опять принимались за свое, выбирая на дереве грушу потяжелее, яблоко послаще и порумянее. И сейчас бабы выносили беженцам фрукты ведрами, лукошками, высыпали прямо у костров на землю, отказываясь от платы, сурово стояли рядом, покачивали головами, глядя, как хватают голодные беженские ребятишки, тащат ко рту, хрустят и, не доев, засыпают.

– Ешьте, ешьте, люди добрые. Кому беречь?

У Скворцова давно не было ни матери, ни отца, и жил он у старухи тетки, вышедшей его, не раз под горячую руку

колотившей; все детские обиды давно забылись, и Владимир шел, взволнованный суровым и скупым прощанием с теткой, она перекрестила его на дорогу:

– Христос с тобой, Володимир. Иди.

Он обнял ее, прижал сухую голову к своему плечу, и впервые в жизни узнал, что седые тетнины волосы пахнут знойным зверобоем – травой, сохраняющей свою яркость и запах и в сушеном виде и год и два, и от этого неожиданного открытия или оттого, что тетка назвала его по-старинному: «Володимир», у него выступили слезы. Он взял давно уже собранный теткой чемоданчик и вышел, и тетка вышла вслед за ним на крыльцо, и он торопливо и молча, боясь вернуться, зашагал по тропинке, чуть ли не в другой конец деревни, к избе Егора Ивановича, председателя Филипповского сельсовета.

Владимир шел опустив голову – было тоскливо и смутно, ему захотелось еще раз взглянуть на здание школы, и он прошел на деревенскую площадь, где был магазин, клуб, школа и сельсовет – все добротной постройки, на кирпичном фундаменте и под железом. Обошел школу со всех сторон, постоял перед дверью и пошел дальше. Недалеко от избы Егора Ивановича его негромко окликнули, он остановился, шагнул в сторону, приглядываясь к неясной женской фигуре. Она поднялась ему навстречу, и Владимир увидел, что на руках у женщины спит ребенок, прикрытый шалью.

– Здравствуй, Павла, – негромко поздоровался он, и жен-

щина спросила:

– Что, значит, тикает советская власть?

Владимир поставил чемодан и сел на скамью, днем раньше он не стал бы останавливаться, а сейчас вот сел, постукивая носком сапога по чемодану, не зная, что ответить.

Павла присела рядом, стараясь не потревожить спящего сынишку.

– Когда? – спросила она, и Скворцов опять постучал носком сапога о чемодан.

– На заре. Чего ты его на руках держишь? – кивнул он на Васятку.

– Боязно оставить. Бухает как. Умаялся за день. Три года, а натопается, нашлепается за день, взрослому не приведется столько! А я пригорюнилась, сижу вот, – сказала она напряженно, не поворачивая головы, – Владимир Степанович, тебя поджидала.

– Зачем?

– Зайди, жутко одной-то, – попросила она.

– Зачем?

– Раньше не спрашивал, сам приходил, не отобьешься.

Он молчал, стало тесно в вороте, он потянул шеей, поднимая подбородок.

– Никто никого не неволил, сами разошлись, тебе ведь одной свободней было, простору хотелось.

– Будет тебе, Володя, старым колоть, зайди.

Владимир молча встал, ногой толкнул калитку и пошел к

крыльцу, знакомому с мальчишеских лет, с двумя старыми вишнями по сторонам.

– Жарко, наверное, в избе?

– Нет, я сегодня не топила. Проходи, о притолок не стукнись, запамятовал небось.

Владимир, привычно нагнувшись, вошел из сеней в избу, окна слабо светились. Павла, тихо двигаясь, положила спящего сынишку на кровать, занавесила окна и зажгла подвешенную на крюк в матице лампу. Медля, стояла с поднятыми полными, как бы налитыми руками, словно бы поправляя стекло. Опустила, прошла по избе, бросила косой взгляд на Васятку, – из-под шали высунулась ножонка с кургузыми грязными пальцами. Подошла и села рядом с Владимиром на лавку с построжавшим смуглым лицом, задумчивая.

– Значится, вот так и будет теперь наша жизнь, Володенька? – Она дрогнула плечами, ладной, прямой спиной и сжала руки коленями – тонкий ситец юбки туго обтянулся. – А я бы тебе сказала, хоть ты и грамотный, а бабы понять не можешь. Да и то, тут грамота не к слову, при чем она тут, грамота? Все вы, мужики, одинаковы, бабьего нашего вам не понять. Молчишь, Володенька свет Степанович? Ну, молчи, молчи, сделанное теперь не переструнишь по-новому. – Павла подняла голову, тихая, понимающая улыбка змеилась по ярким губам, припухшим и чуть загнутым вверх. Глаза, горячие, длинные и черные, – редко встречались такие глаза у местных женщин, и шея, от смуглоты теплая, – все было

знакомо Владимиру, и все было теперь чужим. «Зачем только согласился войти в избу?»

– Ты вот молчишь, – опять раздался голос Павлы. – Ты вот молчишь, а мы если в остатний раз говорим и не увидим больше один другого? Я, может, не желаю, чтобы ты плохое обо мне думал, хочу, чтоб понял ты, Володенька, голубок...

– Приговариваешь, как цыганка...

– А может, цыганка и есть, Володенька. Я одно хочу тебе сказать, я по тебе не сохла, так казнила себя, Володенька. Думала, волю себе давала, да нет, казнила себя, Володенька, любый, себя. Свободной жизни хотелось, простору, оттого и чистоту твою не оценила, так, думаю, глупенький, молоденький, будет ходить за мною телком, руки свяжет. Я ведь порченная уже была, все чего-то другого хотелось, нравилось мне вашим братом вертеть, оттого и оттолкнула тебя, Володенька, уж не сердись. Жизнь, она сама меня закружила, пока Васятку не родила. Вот когда я опомнилась да пожалела, не об Васятке – вся жизнь моя теперь в нем. О себе пожалела, тебя, может, вспомнила. Ты не всегда ведь такой был, грамотный, с обхождением, здоровкаешься за ручку, а тогда вон за этими окнами, помнишь?

– Павла...

– Да не об том я, ведь не жальюсь тебе, все то быльем поросло, хочу, чтобы обиды на меня не держал, не поминал меня лихом, может, видимся в остатний раз, Володенька милый.

– А я и не держу, – с усилием сказал Владимир, снова поднялось данное мужское на нее зло, когда ему так грубо предпочли другого, да и не одного. Павла словно смеялась над собой и над всей деревней. А ведь и учиться он тогда уехал больше от этого и уже потом, успокоившись, усмехался.

Павла молча следила за ним, беспокойно перебирая ворот мягкой ситцевой блузки. Владимир подошел к спящему ребенку, Павла еще привернула огонь и тоже стала рядом.

– Хороший мальчонка, на тебя похож. – Владимир рассматривал лицо спящего мальчика.

– Я и не скрывала, мой он, Володенька.

– Все шутишь?

Павла тесно прижалась к нему.

– Останься, Володенька, голубок. – Ее пальцы жарко сплелись у него на шее, он поймал их, сжал и отвел с силой. «А почему мне не остаться? – подумал он вдруг лихорадочно. – Почему не остаться, если это, может, последний вечер, час, минута? Может, мы последний раз видимся? И потом, почему я словно оправдываюсь? Перед кем нужно оправдываться? Ведь сейчас больше ничего нет и никого нет. А есть только это, только это... и свое нежелание оторваться».

...Все еще вздрагивало, не могло успокоиться ее упругое длинное тело, и Владимир, ошеломленный, обессиленный, лежал без мысли, без движения.

– Хорошо, хорошо-то как, господи. Родненький, родненький... Вот бы сейчас бомба сверху упала, и чтобы сразу на

тот свет, – с силой сказала Павла, все еще не отпуская его и не открывая глаз, и вдруг, сжав до боли крепко его плечи, зашептала: – Володенька, я правду говорю. Останься, к черту их всех, а ты останься. По одному теперь страшно, пооди.

– Что ты говоришь, Павла, брось.

– Ну чего ты рвешься, Володенька, вон вчера за селом шел один, не успел оглянуться, как надвое и перерубило.

– Нельзя, сама знаешь.

Он думал, что пора уходить, и оттягивал каждую минуту. Он чувствовал своим телом ее руки, плечи, губы, грудь и не мог уйти. Давно уже пора было идти, но он не мог открыть глаз, все плыло и покачивалось. Возможно, он уснул на несколько минут, и Павла в темноте склонилась над ним.

– Мне пора, – сказал он, все так же не открывая глаз, и Павла, упав ему на плечо лицом, стала целовать его грудь, руки. Волосы ее рассыпались. – Мне пора, – повторил он, по-прежнему не в силах открыть глаза и пошевелиться.

Павла затихла, всхлипнула.

– Не плачь, ничего не сделаешь.

– Я не потому, Володенька, не думай. Я по своей доле несчастной плачу.

Она всхлипнула сильнее, обхватила его голову и, жарко целуя в губы, сказала:

– Спасибо, Володенька, спасибо, родненький, век тебя не забуду... Спасибо.

Она целовала и шептала, прижимаясь к нему теснее и тес-

нее, и он, опять весь задохнувшись, не мог уйти и только вытолкнул сквозь стиснутые зубы:

– Ведьма ты, ведьма... Ведьма.

– Пусть, Володенька... пусть не было бы тебе худо, а мне...

Ушел он от нее перед самым рассветом. Не стал никого будить, прошел во двор к Егору Ивановичу, положил чемодан в подготовленную, смазанную, набитую сеном телегу, лег ничком и сразу уснул. Ему снился лес в бурю, все гремело и вздрагивало, он жался куда-то под ствол старого дуба, и жесткая, с трещинами в ладонь кора мешала ему устроиться как следует. Что-то давило ему на затылок. Он наконец открыл глаза, и руки его сразу схватились за леску телеги: над деревней стоял ровный и сильный гул, порой ясно доносилась чужая речь, уже начало рассветать.

Владимир выпрыгнул из телеги и заметил в полумраке на колоде для рубки дров фигуру Егора Ивановича. Старик курил. Владимир подошел и сел рядом.

– Не стал тебя будить, – сказал Егор Иванович. – Видишь, незачем. А ты сам подхватился.

– Да, слышу сквозь сон – ревет, вроде гроза собирается, а я в лесу почему-то. Один. И лежу я на самой земле, глаза у земли, и прямо перед ними, под листом папоротника, пичужка в гнезде. Яйца греет. Серьезно на меня глазом поблескивает.

– Ну, ну...

– Ничего, проснулся вот...

– Слышишь, и на ночь неостанавливаются, прямо вперед дуют...

– Развиднеет – пожалуйот.

Пять ночей и дней в Филипповке было тихо, если не считать, что немецкие интенданты, заглядывая в деревню, увозили отчаянно визжавших свиней, гогочущих гусakov; в случае если слишком возбужденная шумом собака увязывалась с залиvistым лаем вслед за автомашиной, следовала автоматная очередь, и собака, изумленно подпрыгнув, успевала грызнуть раз-другой пыльную дорогу, и вытягивалась, стекленея глазами, и уже больше не шевелилась. Людей не трогали, и бабы разглядывали немцев из-за плетней, ребятишек на улицу со дворов не выпускали. Фронт погромыхивал все дальше, и мимо деревни часто прогоняли колонны пленных. Преодолевая боязнь, бабы выносили к дороге хлеб и сало и, кланяясь конвоирам, бросали куски хлеба, завернув их в тряпицу, пленным. Молодые, уставшие конвоиры, с засученными до локтей рукавами, с удовольствием хлопали баб по спине и, смотря по настроению, или разрешали передать пленным хлеб, или пугали короткой автоматной очередью, и тогда, теряя узелки с хлебом, все бросались врассыпную, напоминая стадо испуганных гусынь.

Девки прятались, ходили в низко повязанных на лоб платках. Шел слух, что тех пленных, у которых объявятся родные, немцы отпускают в свои деревни, так уж вроде где-то было, и бабы бегали на дорогу еще и по этой причине, у всех

были на войне мужья, братья или отцы. Но во всей Филипповке никто не встретил своего за эти пять дней. Бабы заходили к Егору Ивановичу, больше в сумерки, садились, складывая руки на колени, и вздыхали. Как-то он не выдержал и, подвинувшись вплотную (на этот раз к нему забежала соседка, Павла), укоризненно спросил:

– Ну, чего, чего сопишь? Что я могу знать? Ничего не знаю. Понятно тебе? Не знаю ничего.

– А я тебя и не спрашиваю, Иванович.

– Не спрашиваешь? А зачем пришла?

– Пришла от тоски. Так.

– Так... За так и чиряк не вскочит.

– Уйти тебе надо, Иванович. И Владимиру Степановичу тоже. – Павла, опустив голову, смотрела на носок своей брезентовой туфли. Дышал Егор Иванович особенно тяжело, последние дни много курил.

– Ты что слыхала, Павла?

– Не слыхала, так, думаю, лучше будет. От греха подальше. Знаешь, Филипюк объявился, говорит, через день какие-то команды германские будут идти, чистить, говорит, будут коммунистов да всех советских начальников...

– Как чистить?

Павла помолчала, ниже надвинула серенький платочек.

– Воздух, мол, чистить, а их – в яму, земля гниль, мол, любит, наружу не выпускает.

Егор Иванович молчал: он уже знал, что Филипюк вер-

нулся и объявил себя старостой. Филипука судили в тридцать втором – свел у соседки корову и вообще – беспутный мужик, сам черт таких не берет.

– Ладно, Павла, иди. Где у тебя Васятка-то?

– Умаялся, немцев все разглядывал. Мальчонка, а чутье есть, палец в рот сунул, к плетню жметя. Я к тебе на минутку, бегу.

– Иди, иди, парня одного оставлять не след.

Павла ушла не прощаясь, и Родин еще сидел, все так же уперев руки в высокие худые колени. Пришел Владимир, за ним в сенях закашлял кто-то еще и, вваливаясь в избу, сказал:

– Здоровы были.

– Здравствуй, Емеля, – помедлив, с явным неудовольствием отозвался хозяин. – Ты чего?

– Чего, – отозвался пришедший, низенький белый кроткий старичок, хлопотливый, шумный; если он и сидел неподвижно, от него исходил легкий неуловимый шумок, словно от старой осины, шелестящей и в полное безветрие.

– Ну, что тебе, Емельян Саввич?

– Так, как бы чего не стряслось, потому к тебе.

– Не понимаю.

– Понимай, Егор. Немец – народ хозяйский, строгий. Беспорядку у нас какого не вышло б. Не будет беспорядка – и от немца хорошее отношение впоследствии.

– Как же это ты дошел? – с чуть видимой насмешкой кач-

нулся Родин.

– Так все в мире. Сиди себе смирно, никто не тронет. Ты бы кому надо, Егор, сказал, чтобы смирно было.

– Умирать боишься?

– Да что! Смерть, она что роды у бабы, не повременишь. Человек как родился – сразу и понес смертушку в себе, а страшно. Год, день – пожить охота.

– Сколько тебе, Емельян?

– Много, Егор, много. Год пройдет – девять десятков насчитается. Я и не за себя, село жалко, молодых жалко. Откуда у них взяться уму?

– Зря жалеешь, Емеля. Молодому в клетке хуже, чем тебе, старику. Тут ему укажи не укажи – кровь играет.

– Э-э, Егор, вся наша жизнь – клетка, только прутья разные. Как на свет народился, сам собой не руководишь.

Родин поглядел на Владимира, тот, облокотившись на стол, слушал, не моргая, не шевелясь, он полуприкрыл глаза, словно дремал.

– Знаем мы, Емеля, друг друга всю жизнь, а вот говорить станем – и друг друга не понимаем. Внутрях у нас пониманья с тобой не выходит. Иди, Емеля, спасибо, проведаль.

– Миром, миром надо делать дело, Егор.

– Не мы начинали, у тебя своих сколько внуков на службе?

– Одиннадцать, два правнука – большая семейка. Да теперь какая с них опора? Ничего теперь они. Чья сила – тот и пан.

Когда старик Емеля, весь двигающийся, словно пушистый одуванчик под ветром, выкатился за порог, Родин долго глядел на дверь, потом неохотно спросил:

– Есть хочешь, Володька?

– Спасибо, не хочу.

– У меня щи, сам варил.

– Нет, не хочу. Аппетит пропал, Иванович.

Родин, гремя заслонкой, достал из печи чугунок со щами, налил в миску и стал есть, прикусывая хлеб от большого ломтя. Владимир, глядя на него, сказал:

– Дай я себе налью, больно хорошо ты ешь.

– Возьми вон миску, в шкафчике. Сделай милость, сам наливай. Там мясо на дне – баранина, зарезал валушка третьего дня.

Владимир кивнул, налил щей, отрезал хлеба, нашел, по старой памяти, головку чеснока в одном из ящичков шкафа. Завешенные окна делали избу ниже, угрюмее, от щей шел ядреный, густой пар, Родин не поскупился на приправы, и Владимир неожиданно для себя съел целую миску, обглодал душистую сочную кость; Родин уже курил, а Владимир все трудился за столом.

– Говорил, есть не хочешь.

– Вначале вроде и не хотелось. Что, о Юрке ничего не слышно?

– Как провалился, стервец. Видный ведь парень, прихлопнуть могут за милую душу.

– Эти все могут.

– Ты, Владимир, долго у меня не засиживайся.

– Я, Егор Иванович, опоздал, хождение только до восьми.

Огородами пройду.

Родин помолчал.

– Оставайся лучше, переночуешь. Подстрелят ни за что ни про что.

Владимир, убирая миски, зашел за перегородку, отделявшую печь от остальной избы.

– Помыть надо.

– Мой, вода в кадке.

– Вижу. Может, и правда заночевать?

– Я же тебе не шутя. Какого черта переться, самого себя под обух нести?

Взрыв ударил перед самым рассветом, в пятом часу. На мгновение он ярко высветил притихшие избы, неподвижные деревья, машины и пушки у плетней, редких сонных, одуревших от неожиданности часовых; стекла изб вспыхнули темно-зеленым багрянцем, а потом испуганно закудахтали свалившиеся с нашестов уцелевшие пока от цепких солдатских глаз куры, захрюкали свиньи, загорелись фары автомашин, опять погасли. Послышались резкие звуки немецких команд, стук оружия, топот, голоса.

Большой седой кот, попавший в полосу яркого света посередине улицы, долго не мог понять, что происходит, – он то

приседал, то выгибал спину дугой, угрожающе шипел и прыгал, ослепленный, и даже два ударил передними лапами воздух, стараясь попасть себе по ослепшим глазам, продрать их от темноты. Но когда луч вторично упал на дорогу, кота не было, и прожекторист несколько раз подмел широкую улицу ярким лучом, отыскивая испуганного кота, затем луч окончательно пропал.

И когда опять стало тихо и все опять ненадолго замерло в ночи, сразу стала яснее и ощутимее тревога: редко кто в деревне теперь спал, все кругом настороженно чего-то ждало. Егор Иванович, подошедший к окну на еле слышный стук, с трудом различил сплюснутое о стекло белое лицо и вышел в сени.

– Пройди к задней двери, – сказал он тихо.

– Чего там, Егор Иванович, я тихонько, двери не открывай, – услышал он приглушенный голос соседки. – Мост, слышно, взорвали. Трех немцев убило. Ты здесь, Егор Иванович?

– Здесь, – помедлив, отозвался Родин и, услышав за своей спиной сдержанное дыхание Скворцова, добавил: – Ступай домой, Павла, не время сейчас шастать.

Утро выдалось ясным и спокойным, густо взмокли затемневшие от близкой осени листья вишен, дороги и тропинки побурели от обильно упавшей росы. Стало тихо, медленно светлеть небо, проступили вначале трубы, вершины груш и яблонь, крыши, и редкий полумрак стелился теперь уже по самой земле, все настойчивее заползая в овраги, в кусты, под обрывы и в ямины. Затопились печи, и бабы вышли к колодцам, ведра звякали, и скрипели журавли, вначале поспешно, затем все размереннее. Немцы еще не спали, у хат, где они разместились, и у машин стояли часовые – в прежние ночи этого не было, но в общем-то ничего страшного не замечалось. Своих убитых немцы снесли в здание сельсовета, об этом тоже стало откуда-то известно, убитые (один ножом в спину, двое других – чем-то тяжелым по голове, у одного разmozжен висок, у другого – затылок) лежали в гладко выструганных белых гробах одинакового размера, поставленных на полу рядом. В остальном все было спокойно, и у многих отлегло от сердца. Пахло поспевшими грушами и яблоками, по улице (Егор Иванович и Скворцов видели это из окна) два молодых, долговязых солдата без мундиров, в одних трикотажных нательных рубашках, несли на палках двухэтажный улей и весело переговаривались. «У кого это на том краю пасека? – подумал Егор Иванович. – Уж не у Потапен-

ки ли?»

Солдат, шедший вторым, споткнулся, наклонился вперед грудью на улей и выпустил палки, улей ударился о землю, и крышка с него соскочила, и солдаты стали пятиться в разные стороны. Из улья густо поднялись пчелы, и один солдат, тот, что шел задним, стал хватать с дороги пыль пригоршнями и бросать в них, он делал это с детским азартом, быстро нагибаясь и разгибаясь. Но вот еще раз нагнувшись, он словно застыл, затем хлопнул себя по шее, подскочил как-то задом вверх и зигзагами, не разгибаясь, бросился с дороги в сторону, к избам, перемахнул через изгородь. Второй, отбежав по дороге метров на десять, глядел на своего улепетывающего товарища и корчился от смеха, но и он скоро испуганно замотал руками, отбиваясь от пчел, и побежал, неловко оглядываясь.

– Вот обормоты, – недовольно сказал Егор Иванович. – Надо бы водой.

– Чего? – спросил Скворцов, и Егор Иванович указал на окно.

– Вон, пчел выпустили. Теперь по улице не пройдешь. Знаешь, Владимир, что-то не нравится мне.

– Что не нравится?

– Покойно, как ничего и не случилось. Что-то здесь не того, как ты думаешь?

Скворцов помолчал, он еще не оделся, только успел натянуть брюки и сапоги.

– На заре вышел во двор, послушал – ничего не слышать. Правда, самолеты идут. Много, и все в одну сторону.

Егор Иванович мрачно усмехнулся.

– У нас, ты скажи, все голо оказалось: ни самолетов, ни танков.

– Что мы знаем? – отозвался Скворцов. – Ничего мы не знаем, Егор Иванович. За два месяца он (Скворцов выделил это – «он») Украину всю прошел. Болтают, Москва вот-вот белый флаг выкинет. Помнишь, накануне, как по радио передавали: бои, мол, идут под Киевом, а дальше враг не пройдет, не пустим. Вот что нехорошо, скольких в заблуждение ввели. Кого обманываем? Себя обманываем, черт возьми-то!

– Ну а что же тебе, сразу панику распустить?

– Какую там панику, паника, она от неизвестности начинается.

Скворцов подошел к окну, отодвинул край занавески, брошенный улей лежал на дороге, и над ним густо кружились пчелы. Улица пустынна, и солнце уже взошло высоко, и все разогрелось – стояла хорошая погода, в прежнее время самое-самое убирать одно за другим и начинать сев озимых, а через несколько дней пришли бы в школу ученики.

Скворцов задумался и стоял, ничего не видя, Егор Иванович возился у печи, потом стал чистить картошку, война войной, а есть нужно.

Владимир провел ладонью по щеке – надо бы побриться, да, надо побриться. Позавчера немцы жгли школьную биб-

лиотеку, и перед школой горел огромный костер из книг – об этом рассказывала вчера ученица шестого класса Клава Павлова, – рассказывала испуганным шепотом, проглатывая слова («Владимир Степанович, ой, прямо в костер! Ой, и Толстого и Ленина, а потом вынесли Пушкина... Ой, Владимир Степанович, все горит! Горького тоже жгли!»).

Скворцов все щупал пальцами подбородок и глядел на пустынную, залитую солнцем улицу, где хозяйничали сейчас одни пчелы, и вдруг почувствовал мелкую дрожь стен, стекол окна, пола. Показался танк, с пушкой назад, с откинутым люком, в котором по пояс торчал молодой, хохочущий солдат с длинными растрепанными волосами. Танк раздавил улей, по-хозяйски поерзал со стороны в сторону гусеницами, вертанулся вокруг оси так, что голова танкиста в люке ошалело мотнулась, и задом стал отползать назад по дороге.

– Что там? – спросил Егор Иванович.

– Забавляются, – тихо отозвался Скворцов. – С пчелами воюют.

Егор Иванович поглядел и пошел опять чистить картошку, а Скворцов остался у окна. Некрашенный потрескавшийся подоконник с вырезами для стока воды был ему низок, и приходилось стоять, пригнувшись, он хотел пододвинуть табуретку, чтобы сесть.

– Владимир Степанович, сходи принеси дров, – попросил в это время Егор Иванович. – Там, под навесом, готовые есть, на всю зиму наготовил, старый дурак.

Скворцов не отозвался. Пустынная до этого улица как-то сразу переменялась, пробежала женщина с узлом, она бежала и оглядывалась, и дети и женщины выбегали из изб. Затем в строю прошли солдаты, пропылила колонна машин. Скворцов толчком распахнул окно, и в избу ворвался шум – крики, плач, происходило что-то очень плохое, не происходило, а уже произошло. Он быстро оделся, натянул на себя рубаху, Егор Иванович выбежал во двор, через минуту вернулся.

– Скорее! – сказал он, засовывая что-то за пазуху. – Кругом солдаты, вся деревня окружена. Я так и думал – неспроста эта тишь да гладь. Скорей, огородами в конопля, – может, еще проскочим. Там у меня грядка подсолнухов, а через выгон проползем как-нибудь.

– Не проползем, – медленно отозвался Скворцов. – Чего мы ждали?

– Поменьше рассуждай. Пошли, пошли!

– Пошли, я готов.

– Вот попались, хуже и не придумаешь.

Они через заднюю дверь, через двор выскочили в сад, затем в огород и побежали друг за другом пригнувшись. Присев у изгороди, переглянулись: по всему выгону, отделявшему коноплю от огородов, стояла молчаливая цепь солдат, и где-то на другом краю деревни простучал пулемет, опять и опять.

– Влипши, – хрипло сказал Егор Иванович. – Давай заби-

райся куда-нибудь в малинник, я в другую сторону.

Скворцов сразу пополз и лишь глухо сказал:

– Пока, Иванович.

– Пока, Владимир, – отозвался Родин и пополз в другую сторону, и Скворцов сразу потерял его из виду. Сам он полз между двумя грядками картофеля, кусты которого снизу уже зажолкли. Земля была унавоженная, жирная, иногда стоило ее чуть шевельнуть, чтобы приоткрылись большие розоватые клубни.

Потом ему попалась на пути грядка помидоров, их давно никто не собирал, и они, опав, густо усеяли землю и гнили. За помидорами сразу начинался малинник, Скворцов заполз в него, присел и оглянулся. Солдаты уже подходили к огородам и стреляли, валили плетни. Скворцов дополз до кучи сущья, – как убирали весной малинник, так и осталась эта куча чуть сбоку, из сухого бурьяна, из засохших прутьев малины и из другого сора. Скворцов стал заползать под нее, и ему за воротник и за рукава сыпалось что-то колючее и сухое. Он заполз, подтянул ноги, потом продвинулся еще дальше и затих, стараясь удержать неожиданный чох. Было сумрачно и таинственно, Скворцов вспомнил детство, игры в прятки, перед его глазами была земля – влажная, черная, поросшая под кучей хвороста белой, длинной травой.

Уже вскоре он услышал голоса немцев, треск ломавшихся стеблей малины, и один из солдат остановился рядом с кучей сущья, остановился, загораживая солнце, – Скворцов

понял это, потому что стало еще темнее. Подошел второй, они закурили, щелкнула зажигалка. Скворцов прислушался к их речи и понял, что они хвалят турецкие сигареты. Голоса у них были беспокойные, озабоченные. Одного звали Вилли, другого – Конрад, они еще о чем-то говорили, кажется, смеялись над своим лейтенантом – Скворцов почти забыл и то небольшое, что учил когда-то в школе и в техникуме, и узнавал только отдельные слова. Потом один из солдат ткнул в кучу сущья носком сапога, и опять затрещали стебли малины – они уходили. И тогда Скворцов чихнул, и хруст в малине сразу прекратился.

Вилли Бранд поглядел на товарища:

– Это ты?

– Нет. Я думал, это ты.

– Подожди. Или нам показалось?

– Какой черт показалось. Здесь кто-то чихнул.

Скворцов слышал, как они опять стали ходить по малинику, то приближаясь, то уходя дальше, и тогда он чихнул еще раз, в то же время вгрызаясь зубами в землю, забивая ею рот. Он встал на ноги, когда солдаты разбросали кучу сущья, и увидел их – худого Вилли и его товарища, лет двадцати двух – с красивыми светлыми глазами, с прямым носом и брезгливым ртом. Он увидел вначале не солдат, а их автоматы, направленные на него, и увидел небо.

– Партизан? – спросил Конрад, с интересом и враждебно разглядывая Скворцова.

– Учитель, – сказал Скворцов, вытирая лицо от земли и сора.

– Учитель? Счита́й, писа́й? – засмеялся Конрад и сразу закричал: – Марш! Марш! – и повел, дулом автомата показывая, куда надо идти. Скворцов пошел.

Жителей Филипповки собрали у сельсовета, всех – от старух, доживавших последние дни, до грудных младенцев, огромная, в несколько сот человек, толпа молча ждала, все время приводили новых. Скворцов видел, как привели Егора Ивановича, привели двух девочек, это были сестры Исаевы – Скворцов хорошо знал их, его ученицы. Одной четырнадцать, другой одиннадцать, Оля и Шура, и у старшей было разорвано платье, от ворота до подола, и она шла со странно неподвижным лицом и все время придерживала разорванные половинки платья, натягивая их на грудь и живот. Их привел немолодой, лет сорока солдат с засученными рукавами мундира, с низко скошенным лбом, и когда они подходили, солдаты, окружавшие толпу, весело загоготали, а некоторые вскинули в знак приветствия руку вперед. В следующую минуту все затихло, на крыльцо сельсовета вышли высокий полковник в фуражке с длинным козырьком, лейтенант без пилотки, переводчик – ефрейтор в больших очках.

Скворцов покосился и увидел рядом с собою Егора Ивановича, он не знал, когда тот к нему подобрался. И тут кто-то заметил, что село горит, его подожгли сразу с двух концов, и толпа зашумела, качнулась, взвыли бабы, и слышался плач детей, и солдаты, выровняв автоматы, отступили на шаг, другой и остановились – теперь никто из них не раз-

говаривал и не улыбался. Полковник оглядел толпу, ему не хотелось говорить, все уже решено. Он был недоволен приказом, уничтожить сразу столько людей и деревню – очень неразумный и поспешный шаг. Но решал этот вопрос не он, и ему не хотелось в это вдаваться. Дело не во взорванном мосте и, конечно, не в трех убитых. И все равно он не стал бы уничтожать поголовно всех – он заставил бы их работать. Кругом необрунные поля, хлеб. Он не стал ничего говорить и лишь поднял руку и пошевелил пальцами, давая знак старшему конвоя. Толпа, вытягиваясь, двинулась по улице, между двумя рядами солдат, по горячей улице, было нестерпимо жарко, и все словно оцепенели, даже дети перестали плакать.

– Куда это? – тихо спросил Скворцов, и Егор Иванович выругался:

– Кирпичный завод... Не видишь?

Скворцов хотел спросить «зачем» и не спросил, ноги сразу отяжелели, и по голой груди пополз противный липкий пот. Разрушенный бомбежкой кирпичный завод, рядом огромные котлованы, из которых годами брали желтую, жирную глину на кирпичи.

– Мы будем проходить Козий Яр, – тихо сказал Егор Иванович. – Прямо рядом будем проходить. Ты смотри. Там сразу орешник, дубняк в два роста. Я старик, а ты смотри, Володька. Ты к тому краю, слева подбирайся, с краю иди.

– Понял, – медленно сказал Скворцов. – А ты чего теряешь!

– Поясница у меня, он, пес, меня прикладом по спине двинул. Силы не занимать – бугай, все как деревянное. Видишь, ноги волоком идут.

– Ну, теперь уж прощай, Иванович, – еще тише сказал Скворцов.

– Прощай. – Он подержался за руку Скворцова у самого локтя, и Скворцов стал на ходу пододвигаться к краю длинно вытянувшейся колонны. Хаты по сторонам горели все ярче, хотя улица была широка – дышать было нечем, конвой торопился, нервничал и подгонял. Кто-то непрерывно, в голос, рыдал, и Скворцова преследовал этот надрывный женский плач.

Впереди Скворцова шла женщина со сбившимся на шею платком, и Скворцов видел в пучке ее волос закругления металлических шпилек. Женщина молча вела сынишку, цепко зажав его ручонку в своей ладони. Онуфриева – жена лучшего в районе тракториста, но выпивохи и большого трепача. Онуфриева била стекла у всех, кого подозревала в близких отношениях с мужем. Однажды она даже не поленилась сходить за двадцать километров в районный центр, чтобы выбить окно у молоденькой докторши, и ее арестовала милиция. Все это было сейчас мелким и глупым, и Скворцов не мог понять одного: почему такие мысли лезут в голову именно сейчас. И вдруг всех остановил высокий, рвущийся крик – Скворцов сразу узнал голос и споткнулся. Кричала Павла. Колонна остановилась, когда проходила мимо ее го-

рящей избы, потому что Павла выметнулась из колонны и забила в руках двух дюжих конвойных, и на губах у нее выступила пена. Она кричала, указывая на свою избы, на которой огонь весело и быстро рвал соломенную крышу и тек змеиными ручейками по стенам, и окна начинали трескаться и высыпаться. Павла указывала на горящую избы и кричала. Скворцов, холодея, вслушивался в этот страшный бабий крик и мог лишь различить в нем одно слово, одно имя. «Васятка! Ва-а-асятка!» – кричала Павла, и конвойные, закинув автоматы за спины, выламывали ей руки, и тянули назад в толпу, и не могли справиться. Внезапно, взвизгнув тормозами, рядом с Павлой остановилась черная, низкая машина, и она увидела длинное худощавое лицо под козырьком фуражки, на плечах поблескивали от огня пожара витые погоны. Подбежавший из головы колонны обер-лейтенант вытянулся, и солдаты, державшие Павлу, выпрямились, как могли, хотя и не выпустили ее из рук.

– Пан! Па-ан! – задохнулась Павла, рванувшись к полковнику, чувствуя в нем большое начальство и видя лишь одно его лицо, пожилое, строгое, с внимательными, холодными глазами. – Да у тебя же у самого дети есть, – захлебывалась она рыданием. – Да что ж ты, душегуб или человек? Ребенок там у меня, Васятка! Три годика всего! Пан, па-ан, да что, у тебя каменное сердце, у ирода?

Зольдинг с тем же выражением лица слушал переводчика, остановившаяся колонна ждала.

Изба полна таинственных шорохов и пятен – это солнце, заполняя в окна, плясало на печи, потому что солнце светило сквозь вишни под окнами, а на улице был небольшой ветерок. Потом солнце стало сползать на пол, и Васятку заинтересовала дыра в одной из половиц на том месте, где выскокчил когда-то еловый сучок. Мать говорила, что там живут мыши. Матери не было, когда он вставал, она или возилась на дворе, или в огороде, или ходила по воду. Васятка откинул с себя чистую прохладную дерюжку, он привык спать под нею летом, и в одной короткой рубашонке, чуть ниже пояса, прошлепал толстыми розоватыми ножонками в сени, высунул голову во двор, сощурился на солнце, улыбнулся ему и, совершенно успокоенный, задрал рубашонку, помочился, с интересом следя за тонкой, светлой струйкой. Затем он сходил, осторожно переступая через щепки и сор, в угол двора, там росли большие лопухи, и среди них было куриное гнездо – раньше в нем всегда лежали теплые еще яйца, а иногда он заставал на гнезде и большую сердитую курицу в серых перьях.

Когда она видела Васятку, то, взъерошив перья, утрашающе громко кричала, и Васятка пугался. Но теперь уже несколько дней в лопухах в гнезде не было ни курицы, ни яиц, и сейчас Васятка пришел к лопухам только по давней

привычке. Он раздвинул большие листья и поморгал, ему хотелось заплакать, но мать всегда говорила, что мужики не плачут и что он – самый настоящий мужик. И он не заплакал, хотя гнездо было пусто, он только по-взрослому тяжело и долго вздохнул. Он раздумчиво постоял, поковырял пальцем в носу, вернулся в избу и присел на корточки у круглой дыры в половице. Он решил ждать, пока из дыры появится мышь, однажды, проснувшись, он уже видел ее, она быстро-быстро бегала по полу у печки и потом куда-то исчезла. Он сидел долго, а мышь все не показывалась, он захотел есть. Тогда он подошел к столу, заглянул, под скатертью, кроме пустых мисок и старого ножа, ничего не было. Обычно, уходя надолго, мать обязательно что-нибудь оставляла, хотя бы скибку хлеба, намазанную маслом, или кружку молока, или картошку. Васятка опять вздохнул, забрался на кровать и стал придумывать, чем бы заняться. Можно выйти в сад и съесть несколько яблок, или найти помидор, или подобрать под сливами сладкую сизую падалицу. Если найти тяжелую палку и ударить ею по сливе, сверху дождем посыплются душистые сладкие сливы, только потом, если их много поесть, разболится живот и мать будет ругаться, и называть его «идолом» и «дураком», и греметь ведрами.

Из-под печи вылезла большая рябая кошка с мягко обвисшим животом, под печкой у нее были котята, и Васятка уже дважды лазил туда, и кошка его не трогала. Васятка позвал ее.

– Кис, кис, кис, кис... Иди, Машка, иди ко мне, – позвал ее Васятка, оттопыривая губы и шевеля пальцами рук.

Кошка походила по избе, понюхала дыру в половице и потом вспрыгнула к Васятке на кровать, потерлась спиной о его бок, легла рядом и, наполовину прикрыв круглые глаза, тихонько замурлыкала. Васятка гладил ей голову и думал, и им обоим было хорошо, потому что в избе было много солнца, и жизнь была доброй, и в саду на земле лежали яблоки, и сливы, и груши и ждали Васятку. А скоро вернется мать, она еще с порога спросит:

– Ну, что ты еще тут натворил, Васятка-гусятка?

Васятке не нравилось, когда мать называет его «гусяткой», но мать только хохотала в ответ на его обидчивые слова. Хохотала и целовала его в шею и в нос, у Васятки от щекотки делались огромные глаза, и он дрыгал ногами.

Мальчик слышал незнакомый шум, похоже было на гром. Он подошел к окну и ничего из-за густых вишен не увидел. Чужие и злые голоса слышались опять, теперь уже рядом кто-то кричал и плакал. Мальчик соскочил с лавки, на которой стоял на коленях, и поглядел в окно; в сенях раздались чужие тяжелые шаги, и Васятка юркнул под печку, он уже знал, что это ироды-немцы, а мать всегда боялась их. За ним под печку нырнула и кошка, когда в избу вошли два сердитых шумных солдата, изба была пуста. Солдаты потопали, заглянули на печь, под Васяткину кровать, за занавеску, взорвали плоскими штыками крышку сундука и, перерыв в нем

все, ушли, оставив дверь полуоткрытой.

Васятка подождал немного и выглянул из-под печки. Сейчас у него были круглые от испуга глаза, а черные, мягкие, давно не стриженные волосы совсем перелохматились. Все говорили, что он в мать, и глаза у него черные, как переспелые сливы с большого, старого дерева из самого дальнего конца их сада. Впрочем, глаза у Васятки сейчас были большие и ничего не понимали. Он покосился на дверь, еще прислушался и теперь услышал шум, похожий на шум сильного сухого ветра. Он взглянул на разворошенный сундук, встав посреди избы на свои толстые ножонки, огорченно, совсем как мать, сказал:

– Вот наделали, ироды, делов!

Слегка косолапя, он подошел к сундуку и заглянул в него – кованная узорчатым железом крышка была откинута на стену. Мать раньше никогда не разрешала ему заглядывать в сундук, и теперь его любопытство разгоралось все сильнее, и он стал рыться в рубашках и юбках, в пестрых платках и так в каких-то тряпках. Потом он нашел клубок шерстяной пряжи и стал катать его по избе, разматывая и путаясь в пряже ногами. Стекла в окнах избы необычно малиново светились, как если бы у матери жарко топилась печь. Правда, тогда светилось одно окно – против устья печи, а теперь все, и на улицу, и в сад, и маленькое – во двор, все они ярко и красиво вспыхивали, мигали.

Из-под печки со вздыбленной на загривке шерстью выбе-

жала кошка, она беспокойно мяукала и прыгала из стороны в сторону, Васятка глядел на нее изумленно.

– Ты чего, Машка? – спросил он.

Кошка, не обращая на него внимания, выбежала в сени, тотчас вернулась, нырнула под печь и выскочила оттуда с полуслепым толстым котенком в зубах. Васятка глядел на нее, все больше тараща глаза. Кошка неловкими большими прыжками металась по избе (ей мешал котенок в зубах), и это оказалось очень смешно, Васятка стал бегать за нею и хохотать. Топ, топ, топ, топ, – шлепал он по полу и все никак не мог поймать кошки, а стекла в окнах уже не светились, а горели – упорно, ярко.

Кошка исчезла в сенях, ее долго не было, а Васятка, потоптавшись, опять стал возиться с клубком и как-то сразу закашлялся и позвал испуганно:

– Мама!

Он оглянулся, никого, только резало глаза и хотелось плакать.

Опять появилась кошка, она нырнула под печь и сразу же выметнулась из-под нее в сени со вторым котенком в зубах, она бежала высоко, напряженно задрав голову и широко растопыривая передние лапы.

– Машка, Машка! – закричал Васятка, размазывая по лицу невольные слезы, – глаза резало все сильнее, и когда он отнял ручонки от покрасневших глаз, кошки опять уже не было, от грохота и рева дрожала изба. Лопнуло стекло, из

окна прямо к Васятке ринулось что-то рыжее, жаркое и лохматое. Заслоняясь, он попятился, упал и закричал, и пополз к кровати, и забрался под нее. Здесь было прохладнее, и он еще раз высунул голову и в последний раз увидел кошку, она метнулась из-под печки в сени серой молнией. Шум и грохот стал еще сильнее, у Васятки появилась сильная боль в ушах, и тогда он по-настоящему испугался.

И тут он услышал голос матери, он узнал его, это кричала она откуда-то издалека, словно с другого конца огорода. Он еще никогда не слышал, чтобы она так его звала.

– Мама-а! Мамка! – откликнулся он отчаянно, окончательно перепугавшись, и больно забил ногами о пол.

И потом он уже не успел больше позвать мать, сверху стало что-то падать, ударило тяжело по кровати, и кровать, проломившись, притиснула Васятку к полу.

Он только широко раскрыл рот и стал задыхаться.

Когда изба рухнула и вверх, прямо вверх, высоко в небо поднялся клуб искр, огня и дыма, Павла еще билась в руках у конвойных, волосы у нее разметались и спутались, и один из конвойных, молоденький совсем и истеричный, не справившись с ее руками, ухватил за волосы и стал выгибать ее голову назад: крыша рухнула в избу, и все стены как-то враз охватило пламенем.

И в этот момент Павла услышала голос Васятки, хотя сотни людей вокруг ничего, кроме густого дружного гудения пламени, не слышали. Ее точно толкнуло что-то, и она сразу, одеревенев, замерла.

– Мамка! – снова вспыхнул в ней крик сына, и она бешено рванулась из рук солдат.

– Ва-а-асятка-а! – Она уже не кричала, а выла и внезапно оборвала, так внезапно, что конвойные отпустили ее, и она стала неподвижно как вкопанная, и слушала – ни один звук оттуда больше не доносился. Она выпрямилась, подняла голову и стала поправлять волосы, она поправляла их, и руки ее были так заботливы, что от них нельзя было оторваться, и молоденький солдат, тот, что тянул ее за волосы и сейчас отпустил ее, все не мог поймать автомат у себя за спиной. Когда обер-лейтенант, проводив командира полка и откозыряв, повернулся, солдат только молча указал на Павлу и ни-

чего не мог сказать, у него тряслись губы.

Павла еще раз разгладила ладонями волосы и, ища гребень, требовательно оглядела солдат, и все поняли. Тихое, неподвижное лицо, зрачки так и остались расширенными, губы полуоткрыты, хищно проглядывал оскал белых крепких зубов.

Павла пошла прямо на горящую избу, и обер-лейтенант остановил солдата, который уже поднял автомат, чтобы стрелять. «Распоряжение господина полковника, отпустить». Павла шла прямо на огонь, и у нее вспыхнули волосы, а она все шла, и у нее задымилось платье, и она попятилась назад, стала бегать кругом горящей избы, и ее фигура замелькала среди вишен и яблонь все дальше и дальше, и Скворцов, стоявший теперь у самого края колонны, с трудом отвел глаза. Он не слышал команд и окриков конвоя, и только когда его подтолкнули сзади, он пошел, слепо натываясь на впереди идущих. Кто-то пристально глядел на него. Скворцов повернул голову: совершенно незнакомое лицо – он раньше не встречал этого парня лет двадцати восьми, широкоплечего, сероглазого, высокого, голого до пояса, лишь на шее болталась грязная тряпка, которая раньше, вероятно, была воротом рубахи. Руки выше локтей и грудь вся в бурых бугристых синяках, видно, его брали не так просто. «Наверное, один из пленных», – подумал Скворцов. В последние дни их много прижилось в деревне, бабы жалели, выдавали за своих.

Колонна вышла за околицу, и голова ее уже двигалась мимо Козьего Лога, в полях. Густо и тяжело пахло перестоявшими хлебами. Скворцов опять встретился взглядом с незнакомцем и весь напрягся, забыл обо всем. «Еще пятнадцать шагов», – сказал он себе. Пятнадцать шагов – и глубокий овраг, Козий Лог, уходивший, разветвляясь, в Ржанские леса в долине Ржаны, – леса, в которых, случалось, блуждали и самые опытные окрестные охотники.

«Еще десять...»

Впереди, в двух метрах от него, с автоматом на груди шагал сутулый, с узкой спиной конвоир, с непокрытой головой и с пилоткой за поясом. «Хотя бы чуть приотстал, – подумал Скворцов, – хотя бы он пошел точно рядом со мной».

И ему показалось, что конвоир чуть замедлил шаг, нет, это просто он сам пошел быстрее и через пять шагов оказался впереди невысокой, щуплой женщины, а теперь шел плечо в плечо с конвоиром и хорошо видел его лицо, и узкие погоны, и грязные следы пота на виске и на шее – темные, извилистые потеки.

«Еще три шага... Три, два, два...»

Он сбил конвоира с ног как-то неожиданно для себя, его кулаки ударили в жесткие ребра солдата, он наскочил на него грудью, всем телом и перелетел через него и уже катился вниз, за ним прыгнул в лог, сбив двух женщин, тот самый, что был ему незнаком и который на него все время глядел.

Егор Иванович в самой середине толпы, приподнимаясь

на цыпочки, старался рассмотреть, что делают немцы, колонна опять остановилась, и только часто-часто трещали автоматы, и, беспорядочно перебивая друг друга, кричали конвоиры. По другую сторону от лога, совсем близко, лежало поле – кургузые крестцы озимой пшеницы, уже слежавшиеся и потемневшие, их давно надо было свезти в скирды или обмолотить. Мирное тихое поле, в двух шагах.

«Молодец, Володька, вот молодец!» – думал Егор Иванович, в груди опять отпустило, словно это он сам сиганул в лог и бежал, рвался по зарослям. «Черта лысого там найдешь!» – думал Егор Иванович и грел за пазухой старый револьвер, выданный ему, как председателю сельсовета, еще с месяц назад, когда все боялись немецких парашютистов и по ночам на всех дорогах дежурили добровольцы из истребительных дружин, и кто-то даже подстрелил старую белую лошадь по ошибке.

Полковник Зольдинг, чисто выбритый, с моложавым ухоженным лицом, строго и спокойно глядел на множество человеческих голов. Все эти люди уже мертвы, хотя еще плакали и тянули к нему детей. Они уже умерли – таков холодный, не рассуждающий закон войны – слепая сила приказа, правилен он или нет. Планы командования не обсуждаются, они выполняются, и раз это необходимо – что значат несколько сот жизней этих несчастных. Но полковнику грустно, он вспомнил веселую Вену, где жил когда-то, и себя – молодым, легким; смеющееся, счастливое лицо Эльзы, дочери фон Лимберга – одного из самых богатых остзейских баронов, и поморщился. С годами веселая, стройная девушка родила ему сына и двух дочерей и превратилась в толстую, грузную женщину, неприятную особенно в постели, у нее появилась одышка, она лежала оплывшей сонной грудой и всегда трудно дышала – кружева на ее пышных сорочках вздымались и опадали. Она любила своих дочерей, ревновала мужа и вышила на зеленом атласе белым и черным бисером портрет Гитлера, преподнесла его в подарок местной организации национал-социалистов, портрет повесили в их клубе; портрету кричали: «Хайль!»

Полковник Зольдинг одернул себя; нужно глядеть в лицо истине. Он думает о Вене, о жене и дочерях, чтобы не ви-

деть происходящего. Он привык к ясности и четкости даже в мыслях, и сейчас отступил от обязательного для себя правила. Не было ясности, отсутствовал здравый смысл – солдаты расстреливали мирных жителей, тех, что могут еще работать и приносить пользу рейху, – правда, руководил акцией не он, а майор Герхард Урих из штаба оперативной группы гестапо «Б», но ведь и его, Зольдинга, один батальон участвовал по приказу командира дивизии.

Зольдинг мог бы и совсем не показываться здесь, у ям, он не испытывал в этом необходимости; да, конечно, и майор Урих в своем рапорте поспешил бы сообщить, что полковник Рудольф Герман фон Зольдинг устранился, Зольдинг не мог доставить Уриху такого удовольствия, это было бы слишком глупо и неосмотрительно с его стороны. У него, понятно, безупречное прошлое, безукоризненный послужной список. И все-таки он только командир полка, а ведь многие, бывшие не очень давно гораздо ниже его по званиям, уже в генеральских чинах, в высших штабах. И как бы иронически он ни усмеялся при этих мыслях, он тем не менее думает об одном и том же. Он ведь не станет кривить душой перед самим собой, глупо рисковать, – и во имя чего? – и вот он пришел и стоит.

Полковник Зольдинг, увидев вынырнувшего откуда-то майора Уриха, отчужденно подвинулся, давая ему место, и как раз в это время Егор Иванович выстрелил в него, и полковник как стоял, так и остался стоять, только отступил на

шаг от ямы и приложил руку к правому боку, потом поглядел на запачканную кровью перчатку, морщась, стащил ее с руки, брезгливо отбросил.

К нему подбежал денщик, несколько солдат, он сказал им, чтобы они не суетились, и тогда Егор Иванович выстрелил вторично и попал одному из солдат в живот.

– Это уже начинает надоедать, – сказал полковник Зольдинг, глядя на уронившего автомат и корчившегося в судорогах солдата и недовольно поднял глаза на майора Уриха; тот резко дал команду, и плач, вой в яме заглушил частый треск автоматов. Егору Ивановичу больше не пришлось выстрелить, плотно сбитая толпа в яме качнулась взад-вперед, и его сдавили: он оказался на коленях, хотел встать и не мог, что-то ударило над ним и плашмя придавило к земле, и кто-то стал раз за разом трясти его сверху. Было похоже на то, словно их накрыли толстым листом железа и били по нему тяжелым. Потом его совсем вдавили в землю, и он на какую-то секунду потерял сознание.

Придя в себя, он хотел шевельнуться и не смог пошевелить хотя бы пальцем. Он выгнулся всем телом, лежа ничком, и постарался приподнять тяжесть, давившую его сверху, но не сдвинулся с места даже на вершок, его старый мозг представил все верно и спокойно. Он продолжил попытки, напрягаясь из последних сил, но уже понимал, что все кончено и ему не выбраться. Он сразу обессилел; под плотным слоем трупов, приваленных землей, не хватало воздуха, и он

стал задыхаться. Он взял себя в руки и постарался успокоиться. Морщась от нестерпимой тяжести, помогая себе руками, животом, ногами, кого-то отодвигая, изогнувшись, он хотел подтащить к себе револьвер и, чувствуя, что не сможет, что тяжесть сверху уже ломает позвоночник, тихо заплакал от бессилия, рванулся вверх и ничего не почувствовал, только в глазах вспыхнуло что-то горячее и погасло.

И потом над сгоревшим селом, над ямами, доверху заваленными трупами, поднялась луна, и светила полно и ярко, и плакал ребенок. К краю ямы подошла старая большая собака с неровно подгоревшей кое-где шерстью и слушала, как плачет ребенок. Запах крови, железа, пороха раздражал собаку, она попробовалализать обгоревшие места, но ей стало больно. Шерсть у нее на загривке то и дело шевелилась, собака села и стала выть, подняв острую морду к луне, она выла, полуприкрыв гноящиеся глаза, и ей смутно вспомнилось что-то далекое и теплое, но потом она отпрянула от ямы, раздался резкий звук, словно отломили сухую палку. У старой собаки этот звук вызвал дрожь, ее слишком много били на веку, и когда что-то хрустнуло, ей показалось, что ее сейчас ударят. Но она, старая собака, была смелой собакой и скоро вернулась обратно, что-то притягивало ее к этому месту, и она послушала, как плачет ребенок, и опять принялась заливать раны, и, возможно, еще старой собаке вспоминались теплые сочащиеся молоком сосцы матери, плач ребенка напомнил ей щенячий визг.

Весь конец августа, почти весь сентябрь Ржанские леса усыпаны спелой брусникой, грибами – еще во всю силу родит белый гриб, уверенный, на твердой ножке, гриб всем грибам, царь всех грибов, хороший семьянин, любитель полумрака, лезет из земли, приподнимая сухие листья и мох, лезет густо, обильно, разрастаясь до удивительных размеров – шляпка легко накрывала ведро, в мясе ни одной червоточинки. И уже потом, если не попадет на глаза ни человеку, ни зверю, охочему до грибов, начинает мякнуть и распадаться. Желтой россыпью усеивают поляны лисички, – сваренные или зажаренные в масле, они отдают курятиной, в них никогда не бывает червя – стойкий гриб, его всего охотней брали на рынках городские хозяйки. А тут уж пошел и осенний гриб – волнушки, опенки, грузди – белые, большими вывернутыми вверх раковинами – гриб, самый лучший для солки, потом всю зиму свежо похрустывает на зубах: отличная закуска, напоминает о солнце и таинственных, земляных запахах леса, янтарных сосновых смолах. И раньше большая часть Ржанских лесов не видела человека, лишь старики из лесных деревенок промышляли грибы и ягоду, зверя да рыбу в глубинах Ржанских лесов, и то больше обирали недалекие опушки и поляны – хватало. А теперь, в эту осень, все стояло нетронутым, не до того было, пустынно осенние леса, пустынно

ручьи, болота и озера, и деревни по берегам Ржаны еще не видели немцев, нет сухопутных дорог к тем деревням, стоявшим в разливе лугов и лесов. Станет лед на Острице, тогда и будет дорога, а пока лишь лодки да один-два катера, но и они, с тех пор как прошли дальше на восток немцы, словно провалились – пустынна неширокая река, у лесных паромов запустение – никто никуда не идет, не едет. Говорили, что катера, бегавшие раньше между лесными селами и областным центром, затопили при отступлении свои.

Время от времени в лесах стреляли – эхо выстрелов плыло по разводьям реки, дробясь и затихая в прибрежных зарослях.

Рваные, оголодавшие, бродили по лесам попавшие в окружение русские солдаты, изредка выходили к деревне, просили хлеба, расспрашивали о дорогах и опять ныряли в леса. А некоторые и приживались у какой-нибудь молодой женщины, охочей до мужской ласки, начинали ладить что-нибудь по хозяйству.

На всех главных дорогах, ведущих из лесов и в леса, стояли немецкие посты; наступило время, когда никто не ходил по дорогам, а все кругом да около, и немцы скучали, свободные от дежурства солдаты ходили в ближайшие деревни и поселки и приносили оттуда связки одуревших от висения головой вниз кур, визжавших поросят и ворчали: никто из них не верил, что в этих лесах могут скрываться русские вой-

ска и что они могут ударить в тылы наступающих немецких армий, и самолеты-разведчики, несколько дней просматривавшие и фотографировавшие леса, вызывали шутки и насмешки своих же солдат. Они откровенно завидовали тем, что были в городах и наступали, встречая каждое утро где-то на новом месте, а здесь все было уже глубоким тылом, смешно караулить совершенно пустые леса – за две первых недели солдаты в этом убедились.

Ни души на дорогах, и из многочисленных постов в Ржанских лесах только пятому посту на большаке, так называли эту дорогу русские, там, где она из лесов уходила к областному городу Ржанску, в какой-то степени повезло. Пост был из трех человек, и начальником поста был ефрейтор Петер Шимль, сын сапожника из Мангейма, шалопут и крикун, особенно допекавший очкастого студента из Берлина, Карла Вальдке, хотя тот сам добровольно пошел в армию и был хорошим исполнительным солдатом. Просто Шимлю не нравилось, что Вальдке образованнее и умнее его; образованность Вальдке здесь, на передовой, доставляла ему немало неприятностей, но он старался не замечать шуточек Шимля, Шимль был и остается сыном сапожника и дальше ваксы и колодок для башмаков так и не поднимется, что с него возьмешь – Египет в его представлении находится в Азии рядом с Китаем. Третий солдат пятого поста Иоганн Ромме, которому перед войной пришлось заколотить свою овощную лавочку и натянуть на себя военную форму, вообще не разго-

ворчив, он часами лежал на спине и пялил глаза в небо, он один, кажется, был доволен своей жизнью и не высказывал особого рвения попасть на фронт и наслаждался тишиной и покоем. Он не вмешивался в споры и разговоры товарищей – перед самой войной у него умерла жена родами и мальчишка не удалось спасти, и он без особого сожаления заколотил свою лавчонку, когда пришел час сменить передник лавчонника на мундир, правду говоря, ему надоело возиться с капустой и брюквой, все-таки теперь можно ждать перемен в жизни, фюрер обещает земли на Востоке.

Однажды перед вечером во время дежурства он остановил и задержал девочку лет двенадцати, она шла со стороны города и долго что-то объясняла и плакала, и никто ничего не понял. Девочка была маленькая, каждому из солдат едва под мышку, у нее были небольшие тугие груди. Иоганн Ромме пощупал их, потискал и повел упирающуюся девочку в кусты, но его догнал очкастый студент и сказал, что он свинья и чтобы он сейчас же отпустил девочку. Петер Шимль видел, как Иоганн Ромме размахнулся, ударил студента в переносицу и тот сразу опрокинулся, задирая худые длинные ноги, а Иоганн Ромме, расстегивая пояс и срывая с себя мундир, пошел было дальше, но в это время студент поднялся, близоруко приглядываясь без очков, как-то боком, пригнувшись, догнал Иоганна Ромме и прыгнул ему на плечи, и они покатались по траве. Петер Шимль подождал, затем подошел и растащил их, девчонка все стояла и, прижав кулаки к шее,

испуганно глядела на них.

– Пошла вон, дура! – прикрикнул на нее Петер Шимль и добавил по-русски, показывая на дорогу, на лес: – Пошел! Пошел!

Девочка поняла и пошла, сначала оглядываясь, затем, пригнувшись, побежала. Петер Шимль засвистел ей вслед и, наблюдая искоса за товарищами, громко, безудержно расхохотался.

– Дурак! Скотина! – сказал студент, выплевывая изо рта кровь. – Что я теперь буду делать без очков? Это мои запасные, раньше я под Киевом в атаке еще одни разбил. Ах, черт тебя...

– Не будешь лезть не в свое дело, – буркнул Иоганн Ромме. – Недоучившийся ублюдок!

Студент близоруко поглядел на него и молча нагнулся и стал искать свои очки.

– Национал-социализм – это твердость и сила, – сказал он, поднимая голову, – но это ни в коей мере не скотство.

– Ну, завел, – буркнул Иоганн Ромме и пошел за палатку. – Хуже всего с этими головастиками дело иметь.

Он был зол на студента и все ворчал. Он остановился, когда раздался радостный голос:

– Очки нашел, одно стекло вот выскочило, а так ничего.

Иоганн Ромме плюнул, а Петер Шимль засмеялся: все-таки это был смешной студент; он ничего не понимал в войне, но с ним было весело, и, оказывается, он не такой уж хлю-

пик, как кажется вначале, умеет постоять за себя.

Так прошел еще день, а перед самой сменой, когда уже слегка начинало темнеть, Карл Вальдке, студент, подошедший к знакомому ручью умыться, наткнулся на неизвестного человека, пробиравшегося в сторону леса, и окликнул его. Человек бросился бежать, ломая кусты, и студент почти перерезал его пополам из автомата, тот умер сразу. Это был мужчина лет сорока, и, кроме кисета с табаком и спичек, у него ничего не нашли. Когда они перевернули его лицом к земле, то увидели на правой лопатке давний, белыми пятнами шов. От грязных портянок убитого крепко пахло старым потом, но Петер Шимль все-таки развернул их, держась кончиками пальцев за край. Под портянками тоже ничего не было, натертая кожа на щиколотках словно окостенела белыми чешуйками.

– Куда он шел? – подумал вслух Карл Вальдке, поправляя скособоочившиеся очки.

– Куда... Зверь в опасности всегда забирается в чащобу. Никуда он не шел, просто его гнал страх.

Петер Шимль толкнул студента в плечо:

– Пошли. Не распускай сопли, таких лучше всего стрелять. Посмотри на руки – это ж медведь, попадешься – пополам переломит, особенно такого, как ты.

– Смена запаздывает, – помолчав, сказал Вальдке.

– Успеешь, – перебил его Ромме бесцеремонно. – А я бы тут постоял, кто знает, куда еще теперь сунут.

Темнота наступала быстро, смены все не было, и Петер Шимль сказал, что придется опять ставить снятую было палатку и распределять дежурства.

– Какого черта тут караулить! – сказал студент, и остальные двое с ним согласились в душе, но Петер Шимль на всякий случай прикрикнул на него:

– Не твоего ума дело! Набрались там в своих университетах разной дури, пора об этом забывать.

И они опять замолчали и прислушивались, а потом стали потихоньку дремать. Когда Краузе привез наконец смену, все они были мертвы; у всех троих были разрублены черепа, косо, безжалостно, лейтенанту Краузе стало не по себе от темноты кругом, оружие, и все вещи, и документы были целы.

Их было пятеро – больной секретарь Ржанского райкома партии Глушов Михаил Савельевич с девятнадцатилетней дочерью Верой и еще трое районных активистов. Начальник милиции Почиван Василий Федорович, радист без рации, присланный из области еще до прихода немцев, паренек двадцати двух лет, с фамилией Соколкин, по имени Эдик, и еще один – татарин Камил Сигильдиев, нервный, нетерпеливый и вспыльчивый человек. Он не находил себе места, он не знал, удалось ли его семье выбраться, и все ему сочувствовали. Он отправил семью только накануне прихода немцев – красавицу жену и маленькую дочь, и ни с кем не хотел об этом говорить. Ему предложили остаться, и он остался, но знал, что, если бы уехал с семьей, ему было бы в десять раз лучше, потому что он не мучился бы тогда неизвестностью. У него была копна рыжих волос; маленькие, глубокие серые глаза выдавали горячий, взрывной темперамент, в моменты гнева глаза вспыхивали, белели и становились не серыми, а просто светлыми. С Почиваном Сигильдиева связывала странная дружба, причин которой понять никто не мог. Почиван, склонный к тяжеловесному милицейскому юмору, желая отвлечь Сигильдиева от мрачных мыслей, подшучивал над ним, рассказывая анекдоты, но Сигильдиев только грустнел от этих шуток, и если бы не доброе сердце Почивана,

вана, он бы послал весельчака к черту. А так он терпел и, не вступая в разговор, глядел в небо и прятал руки, чтобы хрустеть пальцами, он знал за собой эту слабость и старался, по возможности, с нею бороться. И еще Сигильдиев читал про себя стихи, глядя в небо, читал безымянные переводы из древнего эпоса. Стихи успокаивали, не важно, что и эпохи и народы, создавшие их когда-то, давно ушли, и у стихов уже не было автора – они принадлежали просто вечности. То, что они несли на себе печать целого народа, а не отдельного человека, казалось особенно важным. Имя человека перед написанными строчками придавало им конкретность, и тысячелетний разрыв во времени не так чувствовался, а безымянные творения, наоборот, еще более отдалялись, и то, что они продолжали волновать, было особенно удивительным – человек не очень-то изменился за тысячи лет, его не так-то легко истребить. Это вселяло надежду и говорило о неизблемости истинно человеческих категорий добра и зла.

За две долгих недели все привыкли и к дикой поляне, и трем шалашам и вдоль и поперек изучили большой участок глухого осеннего леса, привыкли даже к тому, что командир группы Глушов тяжело болеет, и все жалели его, и всех тревожило дальнейшее. Зачем они здесь, и что они могут сделать, пять вооруженных просто старыми винтовками и револьверами человек? Глушов сделал свое и с помощью кривого угрюмого лесника привел их на это место. Ни дальнейшего ясного плана действий, ни обстановки, которая, несо-

мненно, менялась с каждым днем и с каждым часом, никто не знал. Забываясь в больном сне, уже перед зарей, Глушов, открывая глаза, первым делом спрашивал:

– Никто не пришел?

И тот, кто оказывался возле него в эту минуту, отводил глаза в сторону – «нет никого». Глушова сильнее мучила боль, он говорил, что у него жжет под грудью, и просил водки. Ему давали по глотку, водка кончалась. Чаще всего возле больного, даже тогда, когда он спал, сидела его дочь Вера – она заметно похудела, то, что мог взвалить на себя мужчина, не годилось для женщины. Эдик Соколкин собирал грибы и, теряясь под взглядом Почивана, высыпал их из фуражки перед шалашом, прибавлял нерешительно:

– Их можно варить.

– Соль кончается, – угрюмо глядел на него Почиван, он в этой небольшой группе распоряжался продовольствием, которое они унесли на себе, и с каждым днем все больше урезывал норму сухарей и крупы.

Однажды они все трое собрались возле Глушова, и Почиван, густо кашлянув для приличия, спросил:

– Как ты себя чувствуешь, Михаил Савельевич?

Больной внимательно оглядел их лица, дольше других задержался на лице Эдика Соколкина, вздохнул:

– Где Вера?

– Посуду ушла мыть, – за всех отозвался Соколкин.

– Измоталась девчонка. – Глушов, упираясь в землю лок-

тями, тяжело приподнял плечи, подтянул ослабевшее тело и сел, привалившись спиной к стволу липы, к которому был пристроен шалаш. Он не ответил на вопрос, как себя чувствует, и никто не повторил вопроса, потому что за последние два дня щеки у Глушова совсем провалились, и острые скулы, казалось, вот-вот прорвут кожу. И пальцы рук у него стали сохнуть, кожа морщилась и жухла; Глушов заметил, как на его руки глядит Соколкин, и тихонько убрал их под пиджак, лежавший у него на коленях. Эдик Соколкин нахмурился и покраснел.

– Надо что-то делать, Михаил Савельевич, – опять первым сказал Почиван.

– Что? Ну, говори, Почиван, что, по-твоему, нужно делать?

– Нужно выйти куда-нибудь в деревню, узнать, что там творится. Так мы можем сидеть сто лет, и никто о нас не вспомнит. Что такое теперь пять человек? Нужно хотя бы достать еды... Да и вообще, Михаил Савельевич, скоро зима.

Костистое лицо Глушова, тщательно выбритое и оттого особенно худое, стало жестким.

– Подожди, Почиван. Когда у тебя совсем кончатся продукты, ты мне скажешь. Меня не это тревожит. Подождем еще три дня, до восемнадцатого. Сегодня четырнадцатое. Еще пятнадцатое, шестнадцатое и семнадцатое. А восемнадцатого с утра будем что-нибудь решать.

Глушов зашевелил руками под пиджаком. Эдик Соколкин

поглядел на его большие мосластые ступни, обтянутые шерстяными носками, на правом – небольшая дырочка на подошве, возле большого пальца.

– А теперь идите, ребята, – попросил Глушов, сползая на свое место, и так же жестко, как в первый раз, улыбнулся. – Три дня я еще протяну. Больше, может быть, и не протяну, а три дня выдержу.

– Зачем ты так, Михаил Савельевич? – упрекнул его Почиван. – Мы ведь не враги тебе. Тебе сейчас жить надо, а ты...

Глушов ничего не ответил, он уже закрыл глаза и только старался, чтобы другие по его лицу не увидели, как ему скверно. Совсем не осталось сил, дико с его стороны было соглашаться, ну да разве угадаешь? В напряжении последних недель перед приходом немцев вроде и болезнь прошла, и чувствовал он себя хорошо. Вот только Верку жалко – до чего же вьедливая девчонка. Надо было заставить уехать вовремя, а теперь тоже нечего локти кусать, ничего не изменишь.

Он лихорадочно, торопливо думал, стараясь не отдать себя во власть боли полностью, и вдруг услышал явственный негромкий шум леса. Он только теперь услышал этот шум, и вспомнил, что слышал его в бреду, во сне, только не обращал внимания. Хорошо, конечно, ему бы не умереть сейчас, ведь никто из них не знает так этих лесов и болот, как он, да и ему вот пришлось прибегать к помощи Федора Подола, это-

го кривого лешего, как прозвали еще отца Федора, а потом и его самого окрестные жители. Занятный и темный мужик – отец лесник, и он остался лесником. Глушов доверился ему, и теперь не жалел, что доверился. Он не успел продумать всего до конца, подступила боль – неприятно тупая, отдалась под левой лопаткой. «Ты не должен распускаться, – зло сказал он себе и заставил себя приподняться, хотя на глазах от боли выступили слезы, он ничего не видел – выход из шалаша казался мутным пятном. – Ты не должен распускаться, старик, – повторил он, – ты знал, на что идешь, ты обязан встать. Ты должен победить эту проклятую боль, если не придет связной, а он может не прийти, и вообще все может случиться, ты, ты будешь отвечать за них, за всех четверых, и за то дело, которое они должны сделать и не сделают из-за тебя».

Он выполз из шалаша и сел на землю, никто его не видел, и он был счастлив, что никто его не видел, он выполз на карачках, ноги волочились, как перебитые, ему здорово повезло, что никто его не видел. Он подтянул к себе палку – сбитый ветром березовый сук – и, помогая себе, встал и, пережидая темень в глазах, неестественно широко расставил худые ноги в шерстяных носках. Врачи ему говорили, что во время таких приступов нужно лежать неподвижно, а теперь он может послать всех врачей к черту и сделать все наоборот. Или он, или болезнь, и тогда лучше сразу – сдохнуть.

Он услышал чей-то удивленный окрик и узнал голос Си-

гильдиева. Довольно неглупый парень, с ним интересно спорить, на все имеет свой взгляд; Камил Сигильдиев оставлен решением обкома по его, Глушова, рекомендации; вот он подошел и что-то тревожно говорит. Глушов глядел на него и не слышал, а был весь захвачен своим, и на этот раз он, кажется, победил; это была твердая внутренняя уверенность, надолго это или нет, он не знал, но вот сейчас, в этот момент, он победил и все прислушивался к себе и, глядя на Сигильдиева, не видел его.

Вера вымыла посуду – три солдатских круглых котелка и несколько алюминиевых кружек, – лесной ручей с нападшими в него сучьями, которые уже обросли водорослями, был зеленый, холодный и чистый. Такая чистая вода есть только в дремучих лесах, где нет людей. Вера слушала, как журчит вода, очень хотелось спать, она устала от бесконечных бессонных ночей с отцом, устала бояться за него. Она слышала разговоры об отце, видела сочувственные взгляды и мучилась бессилием. Совсем никуда стал отец, и что только будет?

В глазах Веры все, что случилось, не так страшно, если бы не болезнь отца; она привыкла верить в него, знала силу его слова, силу воздействия на окружающих, и поэтому болезнь отца здесь, в лесу, физическая его беспомощность были для нее катастрофой, хотя и прежде ему случалось прихварывать; Вера сейчас совсем растерялась. Тут только она осознала, какое разрушение началось в мире, и, вспоминая белозубую улыбку своего однокурсника Стасика Ковальского, она лишь пожимала плечами. Когда-то она думала: не приди он завтра, она не сможет жить и не надо будет жить. Он не приходил, и она жила дальше, а теперь, вспоминая, видела себя, ну до стыдного, глупой, мелкой. Она стыдилась своих прежних мыслей, интересов, маленьких забот. А те-

перь вот, когда по-настоящему плохо, она знала: умри отец, она останется одна в мире, где сейчас все сместилось и где приходится забираться в глухие звериные леса, чтобы жить.

Правда, с отцом всегда трудно, а сейчас особенно, он всегда держал себя таким аскетом и всегда боялся запачкать свое имя, боялся хоть в чем-нибудь упрека со стороны, и ей часто казалось, что только из-за этого страха он держит себя так строго, в такой железной узде. И оттого несчастен и одинок. Так казалось Вере, и она жалела отца за его одиночество, за отсутствие у него другой радости, кроме работы. Еще в мирной жизни Вере становилось стыдно, когда она, нарядная и оживленная, вбегала по вечерам к нему в кабинет с одиноким светом настольной лампы, плавающим в табачном дыму, горой окурков на столе и остывшим чаем, крепким до черноты (отец старался ничем не затруднять ее и все для себя делал сам), и встречала его прямой отчужденный, понимающий взгляд. Она знала, он не осуждает ее, но Вере все равно было неловко под его взглядом, и она злилась, – казалось, он живет таким аскетом затем только, чтобы показать ей, как нужно жить. А ей не нужна такая жертва, потом, правда, злость проходила, просто отец – такой человек, и тут ничего не поделаешь.

И все равно в чем-то он все-таки подавлял ее, заставлял тянуться за собой, не будь отец таким, она жила бы иначе, в чем-то совсем по-другому.

«О чем это я, да, о чем я сейчас думала?» – спросила себя

Вера, она сидела все у того же лесного ручья, спокойно и неторопливо журчала вода.

Вера не повернула головы, когда услышала за спиной чей-то негромкий голос – немного развязный, – она могла бы поклясться, что это чужой. Она ждала, тот, чужой, тоже, очевидно, стоял и ждал. Он ей сразу не понравился, и хотя она его еще не видела, она уже испытывала ненависть к нему за то, что ей сейчас приходилось бояться и ждать, может быть, выстрела в спину.

– Девушка! – услышала она опять, и в чужом голосе прозвучала насмешка – и Вера возненавидела еще больше неизвестного за эту хорошо замаскированную насмешку в голосе, словно он заранее все знал о ней и заранее не находил в ней ничего интересного. Вера повернула голову и отступила. В пяти-четыре шагах от нее, привалившись спиной к темному стволу старой ольхи, стоял большой мужчина. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, как человек измучен, и все-таки он производил впечатление физически очень сильного человека. Помедлив, Вера неуверенно шагнула навстречу.

– Мы пятый день ничего не ели, – сказал человек у ольхи, отковыривая куски старой коры от ствола. – Мы заблудились.

– Почему «мы»? – спросила Вера, и человек указал в сторону, где сидели еще двое, один точно такой же полуголый, в штанах, изорванных в клочья, с грязной, умело сделанной

повязкой наискосок через грудь, на повязке проступила и за-сохла кровь, второй помоложе, совсем подросток, белобры-сый и вихрастый, смотрел с любопытством, и Вере показа-лось – даже с восхищением.

– Из автомата его зацепило, – пояснил человек у ольхи, проследив за взглядом девушки. – Навылет, ребро задело. А крови вытекло – ослаб, видите.

– Вижу, – сказала Вера. – Вижу, не слепая.

– Хороший парень, учитель из Филипповки. А это Юр-ка, Юрка Петлин, в лесу к нам приبلудился, тоже из Филип-повки, земляк Володькин, воевать тут собрался в одиночку. Как немцы вошли в Филипповку, так он и оторвался в лес, а мы, дураки, ждали, чего, спрашивается, ждали? Чего? Ну и дождались, чуть в яму не угодили, из-под расстрела ушли. Все село расстреляли, сволочи, и детей и стариков. А Юрка, башка, малый сообразительный, как немцем запахло, так и утек.

– Филипповка, это, кажется, Хомутовский район? – неуверенно спросила Вера, хотя отлично знала, что Филип-повка – это Бравичинский район.

– Нет, Бравичинский, – отозвался человек под ольхой, пристально глядя на девушку.

– Почему вы все о них говорите? А вы сами?

– А я что? Я дальний, алтайский. Николаем меня звать, Николай Рогов. Я ничего, а Володька ранен, вот и говорю о нем, Скворцов фамилия.

– Учитель?

– Мы пять дней не ели, – хмуро сказал Рогов, растирая в пальцах кусок коры и отбрасывая его. Вера неприязненно на него покосилась. Она уже слышала об этом, и при чем здесь она. А может, они все врут, и почему он с Алтая, а очутился здесь, и вообще? Если они пять дней не ели, разве он должен об этом говорить? Ей самой не очень-то легко, что же теперь взять да так и рассыпаться перед ними? И кто докажет, что этот с Алтая, а тот, учитель – из Филипповки, а белобрысый – Юрка Петлин?

Она стояла, не зная, на что решиться, и сама себе удивлялась: откуда у нее взялась такая подозрительность и почему ее так раздражает этот высокий и сильный, видать, мужчина; она верила в интуицию, в возможность понять человека с первого взгляда и долго потом не могла себя перебороть, если и ошибалась в своих определениях.

– Чего там, вы нас не бойтесь, свои, – сказал Рогов с насмешкой, точно угадывая ее сомнения.

– А я не боюсь, – отрезала она.

– Покажите нам, как пройти куда-нибудь к деревне, – попросил Рогов и крикнул: – Да чего вы стоите, не съедим же мы вас, хотя, конечно, и до этого недалеко. Подойдите ближе.

– Дудки, – невольно рассмеялась Вера и только тут заметила, что готова в любую минуту перескочить неширокий ручей и исчезнуть в густых зарослях молодой ольхи. – Вы дуд-

маете, что здесь есть где-то деревня?

– А вы хотите уверить нас, что собираете грибы и пришли сюда за сто верст?

– Я ничего не хочу. Будьте здесь, я скоро вернусь.

– Хорошо, – недоверчиво пообещал Рогов, отошел к своим товарищам и сел рядом с ними под дерево, поглядел в ту сторону, куда ушла девушка. – Фея, – сказал он, и Скворцов, задремавший от слабости и усталости, поднял голову и открыл глаза.

– Ты что-то спросил, Николай?

– Ничего я не спросил. Не могу я больше идти, и все. Или мы найдем пожрать, или я ложусь и помираю.

– Где она?

– Ушла, приказала сидеть, никуда не двигаться с места, – ответил за Рогова молчавший до этого Юрка Петлин, длинноногий, еще по-мальчишески нескладный паренек с живыми, быстрыми глазами.

– Зря ты ее отпустил, Николай, удерет девица, испугается. Надо было кому-нибудь из нас с ней идти, вот хотя бы Юрке.

– Точно, – с готовностью отозвался Юрка, – ох и есть хочется, кишки к позвонку приросли, а от ягод уже мутит. Весь век здесь прожил, а не знал, что под боком такая дремучесть.

– Весь ве-ек, – передразнил Юрку Рогов. – Твой век короче носа, погоди, тебе его еще укоротят.

Скворцов усмехнулся, провел пальцем по давно не бритым щекам.

– Я заметил за тобой любопытную черту, Николай, чем больше тебе хочется есть, тем мрачнее твоя философия. Ты лучше скажи, что нам делать дальше, если она не вернется? Куда идти?

– Вернется. Я уже слышу, они подошли, стоят сзади.

Скворцов удивленно оглянулся и встретился глазами с парнем лет двадцати с лишним, в руках которого была винтовка. Скворцов толкнул Николая Рогова и встал.

– Здравствуйте, – сказал им парень с винтовкой и слегка повел стволом, указывая направление. – Идем.

– Ишь ты, – сквозь зубы проворчал Николай Рогов. – Командует.

– Иди, иди, – сказал парень, и они прошли, куда он указывал, а он шел за ними шагах в пяти. Потом они увидели шалаш, трех мужчин, очевидно ждавших их, и ту самую девушку, которая мыла в ручье котелки. Двое, Почиван и Сигильдиев, стояли, а Глушов сидел, продавив своей тяжестью стенку шалаша; у него было отекавшее, желтое лицо. Девушка сидела, листая какую-то книгу и делая вид, что не замечает ничего вокруг.

– Ну, здоровы были, – хрипло сказал Глушов. – Подходите ближе, рассказывайте, кто вы такие, откуда и зачем.

– А может, вам всю родословную рассказать, до седьмого колена? – вызывающе спросил Рогов, опускаясь перед шалашом и по-турецки скрещивая ноги.

– Валяй, – согласился Глушов, оценивающе ощупывая

глазами крепко скроенную фигуру Рогова.

– Рассказывай, рассказывай! А что рассказывать? Я в окружение попал, а они вот местные, из Филипповки, вот пусть и рассказывают.

Скворцов неторопливо оглядел Глушова, Почивана, девушку.

– Владимир Скворцов, работал учителем в филипповской школе. Вел русский язык и литературу в пятых, шестых и седьмых классах. А это Юра Петлин, тоже из Филипповки, кстати, мой бывший ученик.

– Почему не в армии?

Скворцов оглянулся, это спросил Почиван.

– Белый билет у меня, вы, наверное, видели, я прихрамываю. А Юру не успели призвать.

– В Филипповке я был, – сказал Почиван. – Кто у вас там последнее время председателем колхоза был?

– Грачик, Андрей Демьянович, а что?

– Ничего. Документы какие есть?

– Забыли получить, – опять не удержался Рогов.

Почиван подошел, присел напротив на корточки.

– А ты, друг, не ломайся. С тобой в поддавки никто играть не собирается. Ясно?

– Ясно.

– Да бросьте вы, – взмолился Скворцов. – Из-под расстрела ушли. Какие документы, если нас на расстрел велят?

– Подожди, Почиван, – перебил недовольно Глушов. –

Рассказывайте, товарищи, рассказывайте. Садитесь ближе, – предложил он Рогову, и тот неохотно придвинулся.

Поймав на себе брошенный искоса любопытный взгляд Рогова, Глушов выпрямился, он не любил, когда его начинали изучать прежде, чем он успеет составить себе представление о человеке.

– Вы – партизаны? – вдруг спросил Юрка срывающимся баском и весь залился краской.

– Партизаны, разве ты не видишь, партизаны, – перебил его вопрос Рогов, и Глушов сердито завозился, устраиваясь удобнее. Этот парень за словом в карман не лез.

– Партизаны мы или нет, – наконец сказал Глушов неторопливо и веско, невольно вспоминая чувство беспомощности и заброшенности, когда сердце начинает болеть, и радуясь, что пока все идет хорошо, – партизаны мы или нет, не важно! Кажется, я просил вас рассказать, что с вами случилось.

– И зимовать так расположились? – настаивал на своем Рогов, кивая на шалаши.

– Отвечайте на вопросы. Номер вашей части, дивизии?

– Почему мы должны отвечать на ваши вопросы? – Рогов выделил это «ваши» и оглянулся на Скворцова. Скворцов неодобрительно молчал, и тогда к Рогову опять подошел Почиван, опять присел рядом на корточки, положил руки ему на плечи и раздельно, убежденно сказал:

– Потому, браток: видишь ли, у нас есть винтовки, а у вас

их нет, вот потому мы будем спрашивать, а вы отвечать. И попрошу не скоморошничать, здесь желающих повеселиться нет. Понятно?

– Понятно. – Рогов подождал и отодвинулся, сбрасывая с плеч широкие ладони Почивана.

В один из своих походов в глубь леса в поисках грибов – все поблизости подчистили раньше – Юрка Петлин увидел, притаившись за дубом, большого желто-грязного кабана; выворачивая землю на поляне, зверь неуклюже задирает голову и громко чавкал, тревожно поводя маленькими, злыми глазами, шумно нюхал воздух и прислушивался и опять начинал с ожесточением выворачивать пласты земли.

«Вот сапер!» – с восхищением подумал Юрка и стал осторожно снимать с плеча карабин. Глушов категорически запретил стрелять возле лагеря, но Юрке Петлину было всего шестнадцать лет и мяса он уже не ел полмесяца. При одной мысли о свежей, парной свинине у него засосало под ложечкой, и он забыл не только строгий приказ Глушова, но и вообще все на свете.

«Дикий», – подумал он, следя за горбатой хребтиной кабана, на которой густо стояла прожолклая грязная щетина. Когда кабан замер на несколько секунд, зарывшись мордой в землю и что-то шумно вынюхивая, Юрка прилачился и ударил ему в лопатку и не услышал выстрела, а услышал глухой храп, и кабан побежал боком-боком, потом завалился мордой вперед и все хотел поднять зад и скоро затих. Юрка, осторожно подступив к нему сзади, потолкал его в спину дулом карабина. Кабан был мертв, Юрка исполнил вокруг него

замысловатый танец, высоко вскидывая ноги, а затем, остыв от радости, присел рядом и стал раздумывать, как быть дальше. До стоянки километров восемь, не меньше, у него, правда, есть широкий финский нож, но перед ним многопудовая теплая туша, обросшая щетиной, и что с ней делать, как дотянуть до места, он не знал. Хорошо бы, конечно, раньше сходить на стоянку, ну а если кто утащит кабана?

Петлин задумчиво обошел вокруг туши раз и другой, подергал кабана за короткий хвост и вытер ладонь о траву.

Ну что, придется пока унести на стоянку окорок, а остальное спрятать. Юрка достал нож, подергал кабана за все четыре ноги поочередно, выбирая, и, решительно сдвинув брови, принялся отпиливать переднюю ногу, придерживая ее за острое блестящее копытце. Сначала дело шло туго, Юрка увлекся и возился долго, сопя, отделил от туши окорок и облегченно вздохнул, вытер вымазанные в сукровице руки и финку о траву и потом еще о ствол березы и сел передохнуть. Кабан лежал к нему длинной мордой, хищно оскалив клыки – желтые, тупые и уже мертвые.

«Ты был кабан, живой кабан, – сказал ему мысленно Юрка, осторожно потрогав пальцем самые кончики клыков. – Ты дышал и выкапывал корни, а теперь ты уже не кабан, я отрезал у тебя окорок. Тебе уже все равно, и ты уже ничего не чувствуешь».

Он представил себе, как обрадуются все мясу и будут его благодарить, а он скромно будет отмалчиваться в сторонке.

Мяса, если его присолить, хватит надолго, а соль у Почивана есть. Юрка проглотил слюну, больше всего ему хотелось сейчас отрезать от окорока кусок сырого мяса и съесть. «Мяса много, куда его?» Он отрезал маленький кусочек, положил в рот и стал жевать – мясо было жестким и сладким, от него пахло преснятиной. Юрка все-таки дожевал его и проглотил. «Старый кабан, интересно, дикие кабаны долго живут? Наверное, лет десять», – решил он, думая, что можно еще чуток посидеть и встать, – пора было идти.

Лес стоял тихий. Петлин лег на спину, с наслаждением вытянул ноги. Интересно, что скажет Вера, когда узнает, что это он убил кабана, и нахмурился: ему не нравилось, как Рогов смотрит на Веру. Все дело, конечно, в самой Вере, решил Юрка и совсем по-мальчишески подумал: «А кабана все-таки подстрелил я, а не он». Трудно, конечно, понять этих женщин, вздохнул Юрка. Она и разговаривает с Роговым иначе, чем с другими, и смотрит на него иначе, и слушает не так, как всех. Юрка погрустнел; ему даже расхотелось возвращаться на стоянку, хотя там были не только Рогов и Вера, но и другие, большой Глушов, тоже голодный, Скворцов – этот второй день лежал и бредил – все просил пить; губы от жара у него черные, потрескались, из трещин выступила кровь.

Прямо над Юркой дуб, высокий, старый, и листья, несмотря на осень, на нем сильные, густые, он весь унизан желудями. Столько много желудей Юрка еще никогда не видел, он вздохнул, легко встал на ноги. Он решил привязать окорок

за копытце на ремень для удобства и присел, делая петлю.

– Стой! – сказал ему кто-то негромко и близко.

Юрка прынул к карабину, еще никого не видя, но его остановил тот же голос, вернее, не голос, а нерассуждающая решимость, прозвучавшая в коротких словах:

– Стой, говорят. Застрелю.

Петлин медленно выпрямился, поворачиваясь: перед ним стояли трое – солдаты-красноармейцы, все молодые, и один пониже, без пилотки, держал его на прицеле; Петлин замороженно следил за черным зрачком дула, и у него до приторной сладости сжалось в груди, под ногами была земля, трава и коренья, по-осеннему жадно сосущие соки, он чувствовал, как ненасытно они пьют пьянящую силу земли и как она велика, эта сила.

– Ребята, дорогие, – обрадовался Юрка и качнулся вперед.

– Стой! – остановил его резкий голос того, без пилотки. – Я те дам дорогие! Нашелся, гостек!

– Да я же свой! – взорвался Юрка и выругался, неумело, без вкуса, так, чтобы только выразить свое возмущение, и пока он матерился, все слушали, а тот, что держал его на прицеле, даже голову свесил набок, и Петлин увидел в его глазах насмешливое любопытство.

– Ну, хватит, – прервал тот, что держал Юрку на прицеле. – Ладно, понятно, что русак, хотя и желторотый, матюгаешься неумело.

«Наверно, окруженцы, – подумал Петлин. – Вот черт, их

трое, сожрут кабана, тоже, видать, на лесном харче, одни носы торчат».

Его успокаивало, что на пилотках у солдат звездочки, но лесная жизнь уже выработала в нем недоверчивость и осторожность; он не стал особо выказывать открыто своей радости, хотя вид звездочек на пилотках сильно на него подействовал, ему хотелось подойти, обнять этих троих, неизвестно откуда взявшихся, он чувствовал, что они – свои, и видел, что они относятся к нему, вооруженному, в штатском человеку, недоверчиво, и понимал, что так они и должны относиться, и не очень обижался.

Один из солдат, лет двадцати пяти, с противогазной сумкой через плечо, в которой топорщился явно не противогаз, а что-то другое, подошел и взял карабин Петлина, и только после этого низенький отпустил свою винтовку и мирно сказал:

– Ну, вот, теперь давай поговорим. Ты что, на свое брюхо только кабана завалил?

Юрка оглянулся и совсем расстроился, один из солдат с ножом присел возле кабаньей туши и рассматривал то место, откуда был отрезан окорок.

– Ясно, на одного, – сказал солдат. – Видишь, окорочек-то отделил, попортил тушу. Хорошо, пришли на выстрел, сколько мяса сгинуло б.

– Кабан мой, он мне нужен, – рассердился Петлин. – Вы за чужую тушу не переживайте.

– А ты, парень, не дури, – крепко свел брови низенький. Петлин давно понял, что он здесь старший. – Сейчас со мной пойдешь, а вы займитесь здесь кабанчиком, – приказал он своим товарищам. – Доложу капитану, он еще вам человек четырех подошлет, а так не утащите.

– Ну, это свинство... – Юрка поглядел на низенького и встретил холодный, спокойный взгляд. – Кабан нам тоже нужен, товарищи.

– Кому «нам»?

– Ладно, – сдержался Петлин. – Ведите меня к вашему капитану. Все равно я ничего не скажу. Не имеете права чужого кабана забирать. Знаете, как это называется?

– А ты придержи язык, укоротить ненароком могу.

Когда минуты через три Юрка Петлин, шагавший впереди низенького солдата, оглянулся, у него сжалось сердце: двое других, сняв гимнастерки, хлопотали над тушей.

– Не сумяться, – засмеялся низенький. – Тебя накормим.

Юрка мрачно плюнул в ствол старой березы и всю дорогу больше не оглядывался.

Владимир Скворцов бредил, и все удивлялись, сколько может наговорить один человек в бреду; никто не знал, как помочь раненому, и все только тревожно переглядывались. У Скворцова были закрыты глаза в то время, когда он говорил, и потому на него было особенно тяжело смотреть. Простреленное плечо гноилось, и Почиван, удивленно покачивая головой, сказал:

– Вот чешет, парень, сразу видно учителя-словесника, слышишь, как по писаному чешет.

Почиван взялся лечить Скворцова и часто менял ему повязки, прикладывая к прострелу толстые старые листья подорожника, за которыми ходил куда-то очень далеко. Почиван сокрушался, что не удалось найти молодых листьев, – он верил в чудодейственную силу этой травы, за три дня он привык к раненому и чувствовал ответственность за него.

«Пуля прошла навывлет, – рассуждал он сам с собой, – значит, в середине собралась всякая дрянь, вроде гноя. А подорожник – трава умная – она дрянь на себя тянет, значит, все будет хорошо, вот только бы ему бульончик из петушка помоложе, да вот спирту, жаль, нету, рану хоть раз промыть». Не отряд у них, а одно горе, командир в лежку лежит, теперь еще один, а скоро холода, и что дальше делать, никто не знает. И он, Почиван, хоть и был начальником районной мили-

ции, тоже не знает. Глушов называет его своим начальником штаба и начхозом, и он порой с тоской вспоминает о ребятах из милиции, вот бы их сюда, хотя бы человек пять, сразу бы развернулись.

– Ну, погоди, погоди, – сердито говорит Почиван Скворцову, поворачивая его на бок, чтобы сменить повязку. – Вера! – зовет он, высовываясь из шалаша. – Иди, помоги, руки поддержишь, дергается, не сладишь с ним.

Вера Глушова оставляет свои дела у костра и идет.

– Давай я подержу, – говорит громко Рогов и пристально смотрит ей вслед. Вера не отвечает, идет прямо, не оборачиваясь. – От повязок воняет, хоть нос затыкай, – снова громко говорит Рогов, ни к кому не обращаясь.

– Ничего, я привыкла, в обморок не упаду.

Глушов слышит голос дочери и улавливает в нем тревогу и неуверенность; он тоже думает о Рогове и понимает, что намечается между дочерью и им. Глушову неприятно, что происходит это неожиданно, на виду у всех и как-то очень уж скоропалительно. Что ж, Рогов парень здоровый, видный, и тут обстановка сыграла свою роль. Вера, как всякая женщина, потянулась к силе, и сейчас, в такое тревожное, неуверенное время, – особенно. Глушов уверен, дочь не допустит никаких глупостей, восприятия его сейчас обострены болезнью, он сразу почувствовал перемену в дочери, начавшуюся с приходом в отряд Рогова, что ж, бороться с этим – все равно что плевать против ветра, но как у них, у молодых, будет

все дальше? Он понимал, что будет им дальше нелегко, потому что жизнь – она жизнь, свое возьмет, а война тоже свое предьявит, и никуда от этого не денешься.

Глушов позвал Сигильдиева помочь ему выбраться из шалаша на волю.

– Петлин еще не возвращался, Камил? – спросил он, устраиваясь на своем привычном месте под дубом возле шалаша.

– Ждем, Михаил Савельевич, что-то нет. Почиван говорит, что слышал выстрел.

– Я тоже слышал. Стоит, может, сходить, посмотреть.

– Я могу, Михаил Савельевич, но это лес. Проклятый лес, я не могу отойти от шалаша десяти шагов, чтобы не заблудиться.

Глушов слабо улыбнулся.

– Однако, Камил, он, этот лес, пока нас прикрыл и спасает. Не будь неблагодарным.

– Э-э, я далеко ушел от тех времен, когда мои предки прыгали по деревьям. Я утратил с ними все связи, почему-то мне кажется, что лучше жить в городе и спать в чистой постели.

– Да, Камил, действительно, почему?

– Знаете, Михаил Савельевич, – говорит Сигильдиев с неожиданным воодушевлением, и глаза у него останавливаются, светлеют и смотрят в одну точку. – Знаете, Михаил Савельич, пусть я буду проклят, я его убью.

– Кого?

– Немца.

– Одного или всех? Если одного, то кого именно? – В груди становится легче, не так теснит, Глушов безбоязненно вдыхает воздух в самую глубину. Он понимает, Сигильдиеву это нелегко выговорить вслух, он приучает себя к мысли, что когда-нибудь ему нужно будет убить. Глушов улыбается, желтая кожа на его скулах сильно натягивается: – Вот уж не думал, Камил, что ты такой жалостливый, не в предков.

Закончив перевязывать Скворцова, подошел Почиван, присел рядом, выворачивая карманы и вытряхивая на ладонь остаток махорки, с ним подошел Рогов и тоже сел рядом, жадно следя, как Почиван сворачивает сигарку и закуривает. Почиван недовольно на него покосился, – сигарка получилась жиденькая, и одному не накуриться.

– Черт носит этого Петлина, – сказал Почиван раздраженно, ни к кому не обращаясь. – А ты за него тут думай.

– Придет, не заблудится. Тут сто верст пройдешь, живой души не увидишь. А зверь осенью сытый, не тронет.

Глушов говорил, ни на кого не глядя, лежа на спине: он глядел в небо, закинув руки назад, положив их ладонями вверх одна на другую под затылок.

Почиван ничего не ответил, он был сердит, продукты совсем кончались, и все хотели есть. Когда он делит сухари, он видит, как все следят за его руками, а Глушов все молчит, хотя Почиван точно знает, что Глушову известно расположение хотя бы двух-трех заранее заложенных баз. Почиван

злился, куда Глушов берет запасы? Что ж теперь, с голоду подыхать? К черту осторожность, в такое время беречь запас! Кто может поручиться, что любой из них завтра останется жить? Нет, Почиван не согласен с Глушовым. Да и потом, что за осторожность! Вот возьмет старик да и загнется со всей неожиданностью и не успеет никому ничего передать. К чему такое недоверие? Уж ему-то, Почивану, проработавшему с ним вместе двенадцать лет, мог бы верить.

Вера пошла к ручью стирать грязные бинты, и Глушов проводил ее взглядом; все его раздражало сегодня, ну что вот они, эти четверо, пришли и сидят, чего они ждут от него, сидят и ждут, ведь знают, что сделать все равно он ничего не может. Почиван третий или четвертый раз за последние два дня пытается навести разговор на базы, и Глушову пришлось резко оборвать его. Ему нельзя рисковать; место расположения баз знал не только он, а еще несколько человек, и что бы там ни случилось, они не затеряются. А выдавать расположение баз раньше времени он не мог, он знал, что Почиван сердит на него, но все равно не мог, не имел права.

Почиван с трудом сдерживался, он решил поговорить с Глушовым теперь уже совершенно серьезно, в последний раз, но не хотел начинать при Рогове, – все-таки чужой, и кто его знает, что там у него на уме, какой он. В это время прямо к шалашу и вышел Юрка Петлин в сопровождении трех солдат-красноармейцев.

Был уже совсем вечер, и хотя солнце еще не садилось, в

лесу было сумеречно и совсем прохладно. Почиван протер глаза и медленно встал, затем Сигильдиев, затем Рогов, и только Глушов все так же сидел, вдавившись спиной в шалаш, он глядел на Юрку Петлина и молча ждал.

– Это свои, – сказал Юрка Петлин, подходя ближе. – Вы с ними поговорите, Михаил Савельевич, а то они мне еще не верят. Они у меня кабана отобрали, такой хороший кабан был...

– Какой кабан?

– Дикий, вытянулся – метра в два, Я его подстрелил, а они забрали. Это несправедливо с их стороны, Михаил Савельевич. Они сразу варить его стали, а мне вот такой кусочек дали, по губам...

– Ладно, Юрка, кабан – потом. Что вам надо, товарищи? И, во-первых, кто вы?

Листья начинали осыпаться, легли на землю толстым, пышным слоем и при малейшем движении шуршали. Павла заходила в лес, только чтобы переночевать, а днем пропадала где-нибудь в полях, в забытой скирде или в оврагах; она боялась сел и людей. Везде было много бездомных, одичавших собак и кошек, в лугах, заросших кустарником, прижились избежавшие солдатского ножа или пули свиньи и даже коровы, к ним медленно возвращались настороженность к людям, разнообразие запахов и звуков, у коров подсыхало вымя и уши становились беспокойнее, подвижнее. Павла уже дважды встречала коров с телятами, она устраивалась ночевать где-нибудь поблизости, она сама уже одичала и боялась людей больше, чем эти животные.

Она научилась ходить почти бесшумно, только опавшие листья мешали ей теперь, она держалась опушек; дым она теперь чувствовала издали и обходила стороной. Собак не боялась, и они ее подпускали вплотную. Как-то раз, в сумерки, она подошла к остроухой собаке, сидевшей под дубовым кустом, у собаки был большой лоб и толстый загривок.

Она подошла, протянула руку и тотчас отдернула. Собака, мгновенно вскинув голову, щелкнула зубами и прыгнула в сторону, скрылась в кустах, держа прямо толстый темный хвост. «Волк», – подумала Павла и не испугалась, она поче-

сала под иссохшими грудями, и пошла вслед за волком, и обрадовалась, выйдя к какому-то лесному озеру, где слышалось шлепанье и бульканье: она угадала, что это кормились утки, и успокоилась. Собрала под дубом у бугорка сухих листьев, пошла, напилась из озера, став на колени и поднося воду к лицу пригоршнями, потом вернулась назад, легла на листья и, подтянув колени к лицу, чтобы было теплее, заснула.

Иногда она подходила к селам близко, слышала голоса, и ее охватывала дрожь. Люди превратились для нее во что-то враждебное, она хорошо помнила своих соседей и помнила, что их нет больше, она помнила деда Родина, помнила и Скворцова, как с ним была, и вот только одного, самого главного, не помнила. Оно у нее раньше было, и она чувствовала себя хорошо, покойно, а теперь что-то гонит ее с места на место, и чего-то ей все время не хватает. Она никогда не ночевала дважды в одном и том же месте, она не заходила в деревни и кружила вокруг них, ей все казалось, что там она встретит то, чего ей не хватает, и по-звериному чутко прислушивалась к детским голосам. Почти каждую ночь она по нескольку раз просыпалась с коченевшим сердцем и не могла продохнуть – она слышала тот, последний крик сына, мучительно вслушивалась, крепко зажмурировала глаза, стараясь заснуть, надеясь снова услышать его голос во сне.

А как-то с месяц назад она, сидя в бурьяне в одной из деревень позади огородов, услышала детские голоса и подполз-

ла ближе, перелезла через низкий плетень во двор и, прислушиваясь, готовая метнуться назад в бурьян, подступивший к самой избе (и двор тоже начинал зарастать, это была заброшенная изба), наткнулась на старый заржавевший топор и долго рассматривала его, потом подняла, провела по щербатому острию пальцем и, забыв, зачем она сюда пришла, долго стояла неподвижно, даже улыбалась заветрившимися, шелушащимися губами, и только детский отчаянный голосок: «Ванька! Ванька! Не трожь, маме скажу, вот посмотришь, скажу!» – спугнул ее. Она ушла назад в бурьян, унося с собой топор, привычно и крепко обхватив топорище, она ушла неслышно, и ничто не хрустнуло, ничего не шевельнулось. С этого дня у нее появилась цель.

На второй вечер она набрела на готовящихся к смене Петера Шимля, Иоганна Ромме и студента Карла Вальдке, и так как она научилась ходить по-звериному бесшумно, она успела убить их раньше, чем они проснулись, и пошла дальше, так же бесшумно и неторопливо, как если бы ничего не случилось, только тревожно и чутко прислушиваясь, не подаст ли где-нибудь голос Васятка. Теперь все чаще, переночевав где-нибудь в глуши, в лесных оврагах, камышовых зарослях (ей бывало достаточно двух-трех часов чуткой дремоты), она выходила к дорогам, к селам и разъездам, и ей везло. В одном месте она убила двух старых немецких связистов (они чинили линию), а серую большую лошадь, на которой они тащились вдоль линии, она распрягла и пустила ходить; по-

том ей удалось зарубить мотоциклиста, рослого и совсем молодого, она промахнулась немного, и он долго умирал. Она стояла и глядела, и у нее не было жалости.

Вероятно, и об этом бы забыли, но в течение двух следующих недель в окрестностях Ржанска было убито еще одиннадцать человек, и все тем же способом, и тогда в Ржанске впервые заговорили о партизанах. В селах все упорнее шептались о черной женщине; ее видели по ночам, она бесшумно бродила от избы к избе, некоторые видели ее из окон, из-за занавесок, и божились, что она исчезает бесследно, стоит послышаться человеческому голосу или скрипнуть двери. Мало кто этому верил, но в некоторых избах старухи на ночь выставляли на завалинках хлеб, вареную картошку, лепешки; еда к утру исчезала, и слухи все росли потому, что немцев в самом деле кто-то убивал. Убийства стали подкатываться к Ржанску, все ближе и ближе; в горуправе было зарублено три человека, и тогда начались широкие облавы и обыски. А после убийства генерал-майора Бролля, командира 112 легкопехотной дивизии и коменданта города Ржанска, на похоронах которого в Берлине присутствовал весь генералитет, все местное гестапо было поставлено на ноги и из ставки Эрлингера из Смоленска прилетела особая группа для расследования. Может быть, это дело и начинал один человек, но теперь никто не сомневался, что в Ржанске действует группа террористов. И хотя генерал Броль был убит взрывом мины, брошенной в машину каким-то неизвестным мужчи-

ной, успевшим скрыться, солдаты, поживаясь, продолжали упорно рассказывать друг другу о «лесной смерти», о «черной ведьме» и даже по нужде ночью не выходили в одиночку.

На место Бролля после лечения и отдыха в Германии в Ржанск прибыл полковник Зольдинг, новый командир 112 легкопехотной дивизии, несущей охрану железных дорог, тыловых служб группы армий «Центр» в Ржанской области; Зольдинг был назначен командующим Ржанским административным округом и военным комендантом города Ржанска. Для пресечения беспорядков командование требовало в Ржанском округе принятия решительных мер. Новому коменданту были даны чрезвычайные полномочия. По приезде Зольдингу сразу же доложили о ночных убийствах, захлестнувших теперь уже и город. Как раз накануне патрульные едва не схватили на окраине женщину, у одного из солдат остался в руках клочок ее платья, у другого патрульного оказалась разрублена рука и проломан череп – его пришлось отвезти в госпиталь.

Можно подумать, что они сами сгоряча покалечили друг друга, и это тоже могло оказаться правдой, потому что в дело с некоторых пор вступил еще один соучастник происходящего – страх. Только так случившееся и можно было объяснить, если бы не кусок материи в руках одного из патрульных, задубевший, давно утративший от пота и грязи свой естественный цвет. Этот клочок материи долго разглядывали в комендатуре солдаты, затем его передали по начальству выше вме-

сте с подробным рапортом, вплоть до Зольдинга, и тот, три раза подряд прочитав рапорт, время от времени брезгливо приподнимал пальцами над столом клочок грязной материи, тщательно его рассматривая. Он поглядел на плотно задернутые шторами окна, уверенная тяжесть пистолета в кобуре настраивала реалистически, и если раньше Зольдинг время от времени оставался ночевать в комендатуре, то сегодня твердо решил идти к себе на квартиру. Он сухо усмехнулся, завтра он подымет все на ноги, пока не наведет железного порядка в этих местах, где мирного населения действительно нет, теперь он верил, здесь убивают и женщины и дети.

Он еще раз прошелся по кабинету, и ему, старому кадровому офицеру, стало стыдно: пусть он недалеко шагнул по служебной лестнице из-за своего слишком резкого прямого характера, но он все-таки солдат, и, черт возьми, ему не к лицу поддаваться общему психозу. Он, конечно, будет спать на квартире, в удобной постели, благо тут всего три сотни метров и перед дверью круглые сутки торчат двое часовых. Зольдинг придвинул к себе бумаги и закурил.

Серьезная военная кампания, в которую именно и вылилась война с русскими, требовала вдумчивости и серьезности, к ней нельзя было относиться точно к ночному походу в публичный дом. Солдат не рассуждает на войне; когда полковнику было приказано ликвидировать Филипповку и жителей села, он сделал это не задумываясь, как требовал воинский долг. Солдат не рассуждает, когда речь идет о при-

казе. Он рассчитывал после ранения и возвращения в строй попасть на передовую – гораздо достойнее для старого кайзеровского офицера, чем торчать здесь, в глубинах оккупированных земель, и опасно – не более. Поэтому назначение командующим Ржанского административного округа он воспринял как проявление неуважения к себе, и обида, застарелая, глубоко спрятанная, усилилась еще больше.

Рапорту о террористке Зольдинг не придавал особого значения, никак на него не прореагировал, но 1-й офицер штаба дивизии подполковник фон Ланс заметил его иронию и обиделся.

– Уверяю вас, полковник, очень скоро вам перестанет это казаться забавным.

Зольдинг ничего не ответил, пуская кольцами дым, помолчал.

– При каких обстоятельствах убили генерала Бролля? – спросил он. – Я читал материалы расследования, но, я слышал, вы были свидетелем...

– Совершенно точно. Я ехал в следующей машине, шоссе неожиданно оказалось разбито, шофер Бролля затормозил, и в ту же секунду из-за угла со стороны генерала выскочил этот русский террорист... Специалисты считают это взрывом самодельной мины. Представьте, шофер отделался пустяковой царапиной, а от генерала Бролля...

– Я знаю, Ланс. Благодарю.

Зольдингу как-то хотелось сблизиться с Норбертом фон

Лансом, в Берлине Ланса характеризовали как дельного, умного офицера, да и раньше он слышал это, будучи командиром полка. Зольдинг в сопровождении трех солдат прошел по пустынному ночному городу, под ногами кое-где шуршал упавший сухой лист. Зольдинг молча кивнул часовым у своего подъезда, отпустил сопровождавшего солдата, поднялся по лестнице на второй этаж, удивляясь темноте, зашел в переднюю и, нащупывая выключатель, недовольно позвал:

– Э, Ганс, Ганс. Что за чертовщина, что со светом, эй, Ганс?

– Яволь, г-господин полковник! – услышал он странно напряженный вздрагивающий голос денщика, нащупал наконец выключатель, щелкнул им.

– Я з-здесь, господин полковник.

Зольдингу бросилось в глаза от бледности мучнистое, возбужденно-потное лицо денщика, обычно всегда румяное и непробиваемо-спокойное. Последнее качество Зольдинг особенно ценил в своем денщике.

– Спал?

– Нет, господин полковник, я... н-не зажигайте свет!

– Что-о?

– Господин полковник, вы можете отправить меня на гауптвахту или на передовую... Здесь была она. Н-не зажигайте свет!

– Слушай, Ганс, я устал. Не морочь мне голову. Подогрей молока, молоко и галеты, ничего больше, у меня что-то опять

с желудком.

– Яволь, господин полковник. Позвольте доложить. Я говорю, здесь была эта проклятая черная баба. Совершенно не возьму в толк, как она меня не прикончила?

– Да что с тобой, Ганс, в своем ли ты уме?

Зольдинг с интересом, пытливо взглянул денщику в лицо и почти насильно сунул ему в руки фуражку.

Было случайным совпадением, что Павла оказалась у Зольдинга на личной квартире именно в тот вечер, когда он, не зная ни ее имени, ни жизни, получасом раньше думал о ней, разглядывая кусок провонявшей потом материи, но Павла неосознанно, с самого начала, с тех пор как исчез Васятка, хотела одного: убить самого главного, и тогда Васятка вернется и все станет, как раньше. Она угадывала немцев внезапно пробудившимся вторым, бессознательным чутьем, и в каждом встречном она вначале видела главного, но чем больше их встречалось на пути и чем больше их оставалось потом лежать мертвыми, тем сильнее росло недовольство, потому что Васятка не возвращался и ничего не менялось. Как-то в одной из деревень, спрятавшись на день на огородах, она совершенно случайно услышала разговор о том, что главный немецкий начальник находится в Ржанске и что он приказывал отдавать немецкой армии хлеб и скотину. Если бы не было в этом разговоре слова «главный», она не обратила бы внимания: разговаривали две пожилые испуганные женщины, два дня назад немцы забрали в деревне всех коров и свиней, и вот Павла, притаившись возле покосившегося тына, опять услышала подтверждение, что есть «главный», от которого все зависит, и она пошла к Ржанску, стала кружить возле него и, осмелев, ночью вошла в город и

чуть не попала патрулю в руки. С неожиданной силой и яростью отбившись топором от двух солдат, она два дня просидела в каменном подвале, под домом, полуразрушенном бомбежкой; отсидевшись, она принялась бродить по городу, стараясь узнать, где живет самый главный. Она никого больше не трогала, и в городе потихоньку успокоилось, и она еще четыре ночи кружила по улицам и переулкам, скрываясь в подвалы при первом звуке подков патрулей; она слышала их за квартал, привыкши различать малейший шорох в ночном лесу, и все ближе и ближе подходила к центру, наконец она узнала, где живет Зольдинг, и раза два даже подкрадывалась близко, когда он возвращался домой. За ним всегда шла охрана, и Павла выжидала. Как-то даже увидела полковника в ярко освещенном окне второго этажа, она не разглядела лица, но хорошо запомнила его белую голову.

В среду, когда денщик Зольдинга Ганс в переднике заканчивал уборку и проветривал перед приходом полковника спальню (комнату с тем самым окном, которое отметила для себя Павла), что-то стукнуло за его спиной. Ганс выпрямился, оглянулся и прирос к полу. Он не смог ни двинуться с места, ни закричать. Не сводя с Ганса неподвижных широких глаз, медленно и бесшумно приближалась к нему от раскрытого окна женщина, она показалась ему невероятно высокой. Ветер шевелил за нею тяжелые драпировки.

Денщик в ту же секунду узнал ее по солдатским рассказам и слухам, и точно какая-то сила сковала его по рукам и

ногам и отняла голос. Ему даже не пришло в голову звать на помощь или сделать что-нибудь в свою защиту, он молчал и ждал и не мог оторвать от нее взгляда. Он видел, как она медленно подняла над собой длинный уродливый предмет, он не мог вспомнить, что это такое: перед ним неотступно были ее глаза, они приближались, приближались, и он знал, что сейчас, сейчас все кончится. Когда ее глаза остановились перед ним, огромные, во все лицо, он вдруг явственно осознал свой конец, и ему стало жалко себя и страшно, и он безвольно сполз по стене на пол, силы оставили его.

И в тот момент, когда он сполз на пол, все так же не отрываясь от ее широких, безумных, неподвижных глаз, он понял, что спасен, ее глаза дрогнули, ожили, и под бровями выступил крупный пот, с почти конвульсивным усилием разжались губы, вырвался хриплый гортанный звук, точно она только что вспомнила что-то и нашла; и в следующую минуту она исчезла в окне. Ганс крепко зажмурился и снова открыл глаза: спальня была пуста. Он ощупал себя, все цело: руки, ноги, голова. Господи, теперь он вспомнил, в руках у нее был просто топор, старый зазубренный топор. У денщика дробно стучали зубы, он тяжело поднялся и подтащил тело к окну, в котором исчезла женщина. Ноги совсем не слушались. Окно находилось на втором этаже, почти рядом с окном чернел ствол старой липы, и как раз на уровне окна отходили толстые сучья: денщик потрогал лоб, его круглое, молодое лицо сразу взмокло, он стоял, раздвинув

драпировки, выделяясь на ярком свете, и, точно от электрического удара, прынул от окна – он весь как на ладони, его могли сейчас подстрелить, как куропатку; дрожащими руками он торопливо выключил свет, нашел в передней и нацепил свой автомат, проверил диск и побрел по коридору, всюду выключая свет, в темноте ему было спокойнее, его никто не мог увидеть...

Зольдинг выслушал торопливый и сбивчивый рассказ денщика внимательно, не прерывая.

– Завтра ты сходишь к врачу, Ганс, – сказал наконец Зольдинг. – Я прикажу проверить тебя, мне нужен денщик, а не истеричная баба.

– Яволь, господин полковник, но... – сказал денщик растерянно.

– Исполни.

Павла шла по городу, инстинктивно придерживаясь затемненных мест; она не думала об опасности, ей не приходило в голову, что ее могут схватить, убить, ей было безразлично; по привычке легко и неслышно ставя ноги, она шла вначале по камню городских улиц, затем твердая, спрессованная земля дороги, затем поля, овраги и перелески; ее никто не окликнул. Она шла быстро, за ней с трудом поспел бы самый лучший ходок-мужчина; она оглянулась, ей показалось, что за нею движется небольшое неяркое облачко света, она пошла быстрее, стараясь уйти от него, и, пройдя немного, осторожно оглянулась и опять увидела мутное, желтоватое облачко света – оно двигалось за нею не отставая, да, двигалось. Это было ей в наказание, она точно знала, что это ей в наказание, она знала, что теперь ее видят все, она стояла, как голая, среди дороги и темноты в прилипших к телу лохмотьях платья; вокруг становилось ярче и ярче. Она закричала и побежала, и красноватый густой свет по-прежнему был над нею, ей вспомнились глаза молодого краснощекого немца в переднике, круглые, точно пуговицы, ну точь-в-точь глаза Васятки, когда он испугается, увидев жука или гусеницу, нет, нет, этот не из начальства, этот не главный. Тот, в фуражке, главный; когда жгли Филипповку, он подъехал на машине, того она навек запомнила, он велел сжечь

Васятку, а этот что, у этого глаза детячьи. Ну точно Васятка, господи, господи...

Она стала как вкопанная, и в глаза опять плеснулся режущий яркий свет. Павла снова побежала. На бегу в ярком режущем снопе света она лихорадочно ощупала себя, да она почти голая, когда она соскользнула из окна по дереву, она совсем оборвала свое обносившееся платье, и теперь подол был много выше колен, да и под мышкой куска не хватало, и она все старалась стянуть края этой дыры, платье сразу же расплзлось с другой стороны.

Дальше она уже совершенно без сил шла каким-то лесом, потом лес кончился, и опять началось поле, безоглядное ровное поле, – тогда она вскрикнула и побежала. Уже совсем рассвело. Ей казалось, что ее увидели и сейчас схватят. Она бежала так быстро, как только могла, и теперь уже все кругом казалось раскаленным, она задыхалась от жары и страха, жар лез ей в ноздри, жег глаза, ей нечем было дышать, и она все бежала и бежала от непонятного ужаса, и куда бы она ни оглянулась, везде было ярко, раскаленно. Она метнулась, вырываясь из удушья, куда-то в сторону, и, очевидно, это спасло ее, она с размаху набежала на препятствие, на заднюю стену избы, слепо шлепнулась о нее всем телом и пошла кругом избы, не отпуская рук от бревен, вошла в сени и захлопнула за собой дверь, крепко прижалась к ней спиной, хоронясь от всего, что осталось у нее за спиной. И небо, раскаленное, белое, стало гаснуть; в сенях было прохладно и

сумрачно, солнце еще не всходило, и только разгоралась на погоду заря – широкая, чистая и прохладная.

На стук из избы выглянула посланная матерью девочка лет десяти и, приглядываясь, сказала назад:

– Мам, мам, к нам какая-то тетя пришла. Чужая совсем.

– Какая там еще тетя? – сердито спросила мать, выглянула и испуганно перекрестилась, хотела захлопнуть дверь из избы в сени. В другое время она непременно бы так и сделала – выскочила бы в окно и позвала соседей, но сейчас она побоялась оставить детей, у нее еще был мальчик восьми лет, и она молча глядела на Павлу, всю в лохмотьях, прижавшуюся к дверям.

– Ну, заходи, – сказала наконец хозяйка, оттирая на всякий случай дочку от двери и заслоняя ее собой. – Заходи, коль пришла.

И Павла пошла на голос, мимо хозяйки, задержавшись на мгновение на пороге, в избе было тепло и пахло свежим хлебом, топилась печь, но это не тот огонь, что преследовал Павлу, успокоившись, вошла, а хозяйка с трудом перевела дух, она чуть не умерла под взглядом бродяжки и подумала уже сбегать к старосте, но опять побоялась оставить детей одних. Павла прошла и села на лавку в давно пустующий передний угол, где обычно садился за стол хозяин семьи тракторист Иван Полужаев, с первых дней войны ушедший в армию, и хозяйка, вспомнив об этом, совсем разволновалась и заплакала, вытирая нос и глаза передником.

– Ну ты чего, мам? – спросила девочка, и хозяйка, сморкаясь, отодвинула ее от себя.

– Ничего, дочка, ничего. Иди вон, воды ведрце вытащи, да помалкивай.

– Ну что ж, тебе поесть, что ль, дать? – сказала хозяйка Павле, и та все так же неподвижно сидела: она слышала и все понимала, и только не знала, что сказать в ответ, и поэтому молчала, и хозяйке опять стало страшно ее молчания и ее взгляда, и она опять вытерла непрошенные бабьи слезы.

– Ты погоди, я тебе хоть юбку свою достану. А то нельзя, у меня, погляди, дети.

Она подождала, не скажет ли чего Павла, и пошла в маленькую горенку, там еще спал ее сынишка, и было совсем прохладно и еще темновато. Хозяйка остановилась перед небольшим зеркальцем и мельком взглянула в него, какая-то тревожная, неясная мысль мелькнула у женщины в отношении неожиданной гостьи, но она прогнала ее. Бродяжка и есть бродяжка, сколько их сейчас бродит кругом по земле, головы приклонить негде. Она вспомнила мужа: «Господи! жив ли?», подумала о стерве-старосте, уже три раза ее останавливал, толковал насчет магарыча, а сам пялил нахальные глаза да все норовил ущипнуть за бока, господи, господи, проклятый недомерок!

Она порылась в сундуке, нашла широкую, в сборку, юбку, подумала и прихватила нижнюю рубаху из тонкого льняного холста – еще покойница мать пряла да ткала, хорошее по-

лотно, до сих пор как новое, а уж сколько лет.

Хозяйка тихонько закрыла сундук, постояла над сыном, прикрыла ему ноги, ей не хотелось к госте, и она пересилила себя, вздохнула и вышла из горенки.

Павла сидела все на том же месте, и хозяйке показалось, что она спит, но стоило ей пройти, Павла открыла глаза и стала глядеть прямо на нее.

– На вот, надень, – сказала хозяйка, протягивая ей юбку и рубаху. – Чистое, а то ведь на тебе-то уже все как земля...

Стало совсем светло, и хозяйка теперь увидела тело в струпьях, костистые руки в ссадинах и порезах, и иссохшие крепкие ноги, и въевшийся в них слой грязи.

– Да тебе вымыться надо, – тихо, как бы сама себе, сказала хозяйка. – Давай я большой чугунок нагрее, у меня двухведерник есть, да и вымоешься в сарайчике. А сейчас я тебе поесть дам. Ты кваску выпей, а, горемышная?

Пришла девочка с ведром воды, остановилась у порога, прикусила палец и стала глядеть на Павлу, теперь уже совсем рассвело, все было хорошо видно; когда хозяйка согрела воды, вылила ее в ведра и сказала Павле «пойдем», та пошла. Хозяйка в одном углу сарайчика, из которого давно выветрился дух скотины (съели немцы), развернула сноп чистой соломы, поставила на него деревянное большое корыто (еще мужик долбил, на все руки был мастер) и сказала:

– На вот, ополоснись. Тут вон я тебе и обмылочек нашла. Ополоснись, ополоснись, а то от тебя дух тяжелый разит.

Павла стояла, ничего не говоря, и не шевелилась; сквозь щели в стене на нее полосами ложилось густое солнце, и острая жалость кольнула хозяйку в самое сердце. И до чего же война может человека довести... Или она дурочка какая? И хозяйка сама сняла с Павлы остатки платья, поставила ее на солому и, глядя на иссохшие груди и на тело в струпьях и в грязи, тихонько заплакала и стала ее мыть, оттирая грязь тугим пучком соломы; она вымыла ей голову, но волосы расчесать ничем не могла, она драла их потом деревянной гребенкой, смачивала холодной водой и постным маслом, которое сама нажарила из конопли, и все почему-то думала о стерве-старосте, что все к ней подкатывался и что у него совсем совести не осталось перед ее мужиком: а если Иван ее жив-здоров вернется?

Хозяйку звали Феней; баба здоровая и сильная, Феня тянула свою лямку, вперед других не совалась, и Павла жила у нее месяца три до самых холодов, и никто ее не трогал, Феня выдала ее за свою родственницу по отцу, из далекого села Камышовки, и Павла, немного придя в себя, стала помогать Фене по хозяйству; они носили с поля полусгнившие снопы пшеницы, оставшейся неубранной, сушили их на печи и вымолачивали в сарае пральниками потемневшее зерно; запасали дрова на зиму и носили их вязками на себе из ближних лугов, поросших мелким дубняком и орешником, потом на старой колоде рубили их, связывали крученками из соломы и складывали в одно место. Когда было еще тепло, Павла помогла Фене подмазать кое-где оббившуюся хату, помогла выкопать и убрать все с огорода; говорили, что с весны немцы раздадут всю землю по душам, как это было еще до колхозов, раздадут и только назначат налог. Павла постепенно оттаивала, и Феня к ней потихоньку привыкла, и дети привыкли, только Феня долгое время боялась оставлять Павлу с детьми, и особенно с мальчиком; по ночам Феня слышала, как Павла плачет, и тогда она подходила к ней и трясла за плечо:

– Ты хоть Расскажи, оно легче станет. Ты дура-баба, по-
верь мне, – просила она. – Ну Расскажи, не держи в себе.

Павла умолкала и лежала молча, глядя в темный потолок, а Феня, подождав, начинала рассказывать о своей жизни, и все больше, как она полюбилась со своим Иваном и какая у них была богатая свадьба, и каким он, ее Иван, оказался хорошим мужиком. И еще она любила рассказывать о своем младшем брате – Василии Петровиче (она называла его только так, по имени-отчеству, потому что он выбился в завмаги и жил в большом городе), о том, как перед самой войной она в мае успела съездить к нему на свадьбу, и как они там хорошо погуляли, и какую брат выбрал себе умную да ладную жену. Павла слушала и успокаивалась. И вообще, она становилась все спокойнее и спокойнее, и только все никак не могла привыкнуть к сынишке Фени и, видя его, как-то вся начинала дергаться, и лицо темнело, и Феня это знала и втайне боялась за сына; Павла ведь ничего о себе не рассказывает; Феня не понимала, что она просто не может рассказать, потому что тогда прошлое вернулось бы к ней, и она боялась этого больше всего. Первое время она часто кричала во сне, но потом перестала; Феня начала понемногу привязываться к жиличке: все-таки есть с кем зиму коротать и дров заготовить и по вечерам веселей, хоть и молчаливая попалась ей нахлебница. Но как-то уж по морозу, крепко в одночасье прихватившему землю, Феня вернулась под вечер с колодца не в духе и сразу, не разматывая платка, позвала с порога:

– Павла, а Павла...

– Ты чего, Феня? – спросила Павла, выходя из горницы,

где она играла с Гришей в лошадки, и Феня впервые увидела на ее лице затаенную улыбку и изумилась, но потом села на лавку.

– Была я на колодце, там с Жучихой встретилась, тоже по воду пришла. Там мужик ее, черт, вроде пронюхал, в Камышовке, говорит, у меня никакой сродственницы нету и не было.

– Староста?

– Он, собака. Отъелся, проклятый жеребец, всех баб замучил. Отольется ему, черту, вернутся мужики, они с него с живого шкуру сдерут. Вишь, черт, что-то, говорит, Феня мудрует, он это жинке своей говорит. Будто из Ржанска бумага пришла искать повсюду бабу, которая немцев топором рубит, она их, говорят, тыщи порубила. Так вот всех бездомных баб вроде по всей округе приказано брать под конвой и в город волочить на сыск немцу. А он, Жук, собака, говорит, какая же, говорит, это ей сродственница из Камышовки, если у ней там была одна сестра, да и та померла перед войной? Побоялся бы он хоть Бога, говорю я Жучихе. Что он, глядеть никому в глаза потом не думает? Ведь не с немцами ему жить, а с миром. Да она что, она сама у него в батрачках ходит, а как ночь, так он не с нею в кровать, а другую ищет – помоложе. Свою заездил, а теперь чего ж? Да любая девка на что не пойдет, чтоб от Германии ослобониться. Так вот я тебе говорю... Постой, постой, Павла, ты чего?

– Мне уходить надо, Феня. Я надену, в чем я тут у тебя

ходила?

– Господь с тобой, надевай, только куда ж ты пойдешь в холод?

– А чего ж мне дожидаться, петли? Куда-нибудь уж пойду...

– Постой, постой... Да ты...

Павла поглядела на нее, поглядела далеко и строго, и у Фени по плечам прошел мелкий озноб, и она перекрестилась.

– Ты постой, – сказала она. – Ты мой полушубок возьми и валенки, от мужика остались, я тебе дам. Ты на меня не сердись, – все говорила и говорила Феня, боясь остановиться, потому что ей было теперь не по себе и страшно; из дверей горенки вышли дети и глядели, как Павла собирается. – Да ты подожди, Павла, я тебе кусок сала достану, да хлеба заверну, у меня запрятано, сам черт не найдет.

– Не надо, Феня, посидим. На детей погляжу.

Павла, собранная и одетая, села на лавку и утерла слезы; ей было жалко оставлять детей и не хотелось уходить из теплой избы.

– А ты, Феня, передай своему старосте, – сказала она внезапно. – Пусть он, собака, не очень... А то я его где хочешь достану, за семью замками достану, – говорила она, и у нее в глазах опять мелькнуло что-то, напугавшее Феню, она опять поразила ее своим внезапно переменившимся жестким лицом.

– Что ты, что ты, – торопливо сказала Феня. – Ты не надо

так, ты лучше подожди вот, сала тебе достану. Его и без нас с тобой, шкуру, повесят. Вернутся мужики и за милую душу повесят. А ты посиди с детьми, сейчас сбегая по делу.

Павла подозвала к себе мальчика Гришу и стала тихонько гладить его голову и нюхать его волосики – белесые и мягкие, и они пахли теплом, и Павле не хотелось уходить. Ей хотелось схватить этого мальчика Гришу и прижать к себе и не отпускать, у нее даже судороги пошли в руках и в животе. Собака староста, она его видела однажды – невысокий, лет сорока мужик, с толстыми губами, в эту минуту попадись он ей, она спокойно бы убила его, как убивала немцев. Ей не хотелось уходить из этой деревни Дубовицы, и она еще раз заставила себя запомнить проклятого Жука, вернее, его лицо. «Ну, погоди, гад, – сказала она. – Погоди, Жук Игнат».

Вернулась Феня и подала ей тяжелый сверток с хлебом и салом. Павла взяла, и Феня заплакала, а Гриша сказал недовольно:

– Ты, мам, всегда ревешь, как маленькая.

– Замолчи! – прикрикнула Феня на сына, и Павла ушла. Уже совсем стемнело, и нужно было хорошенько занавесить окно.

Как раз в это время у старосты Жука, в чистой половине избы, за большим столом ужинали три немца из ржанской хозкомендатуры. Один – военный советник комендатуры обер-лейтенант Миллер, двое других – в штатском. На

столе стояла четверть пунцовой от сухих вишен самогонки, жареная свинина большими кусками, соленые огурцы и бело-зеленый кочан капусты – тоже соленый, тугой, как арбуз. Миллер с хрустом разрезал его солдатским ножом, поддел кусочек острием и положил в рот. Он, после трех стопок крепкого, очищенного от сивухи через древесный уголь и вату, самогона, чувствовал себя прочно и весело; Жук сказал, что у избы дежурят двое полицейских и можно не тревожиться. Сам Игнат Жук сидел у края стола, навесив на глаза черные, широкие брови, он больше глядел в пол, чем на гостей; когда зеленые от старости стеклянные стопки пустели, хозяин, зорко все замечавший, тяжело, опираясь руками о колени, вставал и наливал из четверти опять. Скоро баба внесла вареную картошку, и миску моченой антоновки, и соленые грузди. Игнат Жук опять налил и, скороговоркой пожелав доброго здоровья, первый опрокинул в себя стопку, взял яблоко, надкусил. Пьянея, немцы становились шумливее и веселее, а Игнат Жук мрачнел, лицо наливалось темным румянцем.

В избу зашел погреться и выпить полицейский Митрохин, здоровый молодой парень.

Жук налил ему в стакан, не долив немного; Митрохин выпил, заел куском свинины и, положив обглоданную кость обратно на стол, закурил.

– Как там, тихо? – спросил Жук.

– Тихо, – отозвался Митрохин, шевеля жирными от сви-

нины губами, и рыгнул. – Ничего, пусть паны немцы жрут в удовольствие. За порядок я ручаюсь.

Жук хмуро поглядел на него и сказал:

– Иди.

Митрохин, сняв карабин с плеча и взяв его в руки, загадил окурок о дверной косяк и ушел, а Жук подбросил еще дров в топившуюся печь и приказал бабе стелить: офицеру на кровати, а двум в штатском на полу, и она стала носить в чистую половину избы перины, подушки и одеяла.

Ночью Игнат Жук, лежа рядом с разомлевшей во сне бабой, никак не мог заснуть, он часто вставал, пил холодную ледяную воду в сенях и курил, хмель все не проходил, и Игнату Жуку хотелось что-нибудь сделать. Может, взять тот нож, что лежит в сухости на комеле печи и которым половина деревни колет свиней, затем пробраться на чистую половину избы и потихоньку отправить своих гостей на тот свет, а самому махнуть в лес, пристроиться там... Но он знал, что не сделает этого, и мучился. Теперь он понимал, почему немцы так долго и подробно расспрашивали его о землях кругом, и почему он не может взять нож с комеля и прокрасться на чистую половину избы.

– Ну, чего ты, Игнат, господи, не спишь? – спросила жена под утро, после первого петуха, глухо прокричавшего за стеной избы во дворе. – Засни, выбрось ты свою занозу из головы.

Он сидел на кровати, свесив ноги, и она провела по его

выгнутой, справной спине ладонью.

– Ложись, спи, – сказала она и, помедлив, поднялась на колени, обхватила его за плечи. – Господи, Игнат, да что это с тобой... Допился, ложись, ложись, Игнат... Ложись...

Впервые, как она помнила, ее муж, Игнат Жук, плакал, по-мужски трудно, глотая слезы.

Он лег, вытянув ноги.

– Игнат...

– Ложись, – сказал он. – Хватит. Теперь уже нечего... Пропили, сволочи иуды, прокукарекали все. Ничего от России теперь не останется. Ты думаешь, зачем они, наши гостечки, немцы, приехали? Поместью какому-то барону они из нашей земли выбирают, вот тебе фон барон. Ты думала, они нам – землицы-то? На-кась, выкуси! – с неожиданной злобой и ненавистью выдавил он из себя, сжимая оба кулака в кукиши. – На-кась! Дураки они тебе, они вон из нашей земли поместья себе выбирают... Что мне большевики дали? На цепь, как кобеля, пристегнули, а эти, гляди, и того хуже...

– Игнат, – робко сказала жена. – Те какие-никакие, а свои, ты бы, Игнат, подумал. Знаешь поди, шкура хоть не черна соболя, да своя. Да и что тебе колхоз-то плохого сделал? Весь мир, значит, туда, а ты – сюда. Ты бы, Игнат, образумился, провались она, эта земля, без нее и слободнее стало.

– Заговорила, заговорила, – оборвал Игнат бабу злобно. – А ты думаешь, они тебе прощение дадут, свои-то? У меня задумки есть, они покрепче других будут...

Игнат Жук замолчал; если бы он не был так возбужден, он не стал бы разговаривать с женой, но теперь он не мог остановиться; он лишь говорил, словно еще раз думал тяжелую, сжигающую злобой думу все о той же земле, бывшей вначале под колхозом, а теперь вот немцы хотели ее отобрать под поместье барону. И он ничего не мог сделать или переменить, ему теперь, как скотине на веревке, шагай вслед за хозяином и не думай, то ли на бойню тебя, то ли на продажу.

От неожиданной злой жалости к себе, за погубление от своих же рук у Игната опять выдавило тяжелую слезу, и он замолчал, боясь выдать себя голосом перед бабой.

– Лишь бы немец с колхозами покончил, – сказал Игнат Жук минут через пять то затаенное, о чем думал долгими ночами и о чем он впервые сказал другому человеку. – А с немцем потом мы сами справимся. Мы у него из горла вырвем землицу-то, – сказал Игнат, каменно сводя скулы (вот-вот кожа лопнет), и жена испуганно зашептала:

– Тише, тише, да что ты мелешь! Перекрестись, вояка, господи! Ложись, слышишь, Христом молю, ложись! Бес тебя донимает, людей как мух бьют, какое тебе хозяйство?

Запел во дворе второй петух, и, зная, мороз укрепился: звонче доходил в другой раз голос петуха.

Прицелившись в дикого кабана ранней осенью 1941 года, Юрка Петлин не знал, чем все это обернется, но как бы то ни было, в Ржанских лесах жил и действовал, – все больше набирался сил партизанский отряд капитана Трофимова, или 1-й Ржанский. Эта встреча оказалась спасительной: в глубине души понимая, что никакой он не командир, не знает, с чего начать, Глушов растерялся. В мирных условиях он умел влиять на людей и привык к этому, а здесь, в лесу, он впервые почувствовал себя беспомощным. Военная премудрость начиналась прежде всего с умения стрелять, кидать гранаты, способности не через других и не через бумаги, а самому, прямо в глаза приказывать и добиваться исполнения своих приказаний, – пусть даже идти и умереть. У Глушова такой способности не оказалось, и он, присмотревшись несколько к Трофимову, сам предложил объединить его и своих людей вместе и командиром сделать Трофимова, за собой он оставлял роль комиссара, он был здесь свой, и даже никакого сомнения не возникало, кому быть комиссаром отряда; Трофимов первым делом предложил Глушову выбрать место для зимовки и вырыть землянки, одновременно оборудовать в глуши запасную базу на всякий случай.

– Что же ты, капитан, – тяжело пошутил Глушов, – воевать собираешься или скот разводить? Сколько ты дума-

ешь здесь сидеть, год, два?

– Сколько потребуется, – недовольно щурясь, не сразу отозвался Трофимов. – Места хорошие, отчего не посидеть? Жен заведем, детишек – малина.

– Все-таки...

– Ну, тогда выкладывай, комиссар, свои соображения. Только учти, нас сорок три человека, есть раненые, еще не в строю, фронт от нас, ну, километров двести – триста, о нас никто не знает, ни по ту сторону, ни по сю, и мы не знаем, есть ли кто еще в этих лесах. Да и вообще, что мы знаем? Я разве против? Предлагай свои соображения.

В их первой стычке Глушов внутренне вскипел и, сдерживаясь, мирно предложил:

– Брось, Трофимов, не надо. Ты видишь, я хочу все обдумать серьезно.

– Подготовить зимовку в наших условиях, разве несерьезно?

– Я не к тому. Нужна зимовка, нужно начинать помаленьку и шевелиться. Мы уже можем ходить по деревьям и разъяснять людям правду.

– Будто мы ее знаем...

– Что?

Трофимов повернул голову, на него глядели настороженные, умные глаза. Наполняясь злом и отчуждением, сдерживая себя, тихо сказал:

– Слушай, комиссар, или мы сработаемся, или... или сра-

зу в две стороны. Работать вместе и быть гадами, вот так ловить друг друга на слове... Знаешь, комиссар, нет, я не согласен. Сразу давай и решим такое дело.

– Перестань. Что нам с тобой делить?

– Делить нам нечего, я хочу не оглядываться на каждое свое слово. А ты нехорошо на меня посмотрел только что... Какую правду мы знаем, а? Где фронт? Не знаем. Почему пол-России отдали? Вот о чем я говорю.

– Подожди, Трофимов, – медленно выговорил Глушов. – Подожди. Есть и еще правда. Ты поплачь, авось пол-России и вернется. Слышишь, не наше дело сейчас устанавливать, что и как. Чего-чего, а правдоискателей и страстотерпцев на Руси всегда хватало. Сделают потом все и без нас, и наверняка лучше нас. Ты – советский командир, русский человек, тебе сейчас одной заботой жить, одной правдой – спасти Россию. А иначе – стыдно.

– Ты не стыди! – резко оборвал Трофимов. – Мне пока нечего стыдиться, комиссар.

– Мы должны сработаться, другого выхода у нас нет.

– Я тоже считаю – должны.

– Давай не обращать внимания на резкость. И ты прав, и я прав по-своему, никто не собирается сидеть сложа руки. – Глушов помолчал и, переводя разговор, сказал: – Нам еще надо подобрать начальника штаба. Кого ты думаешь?

Трофимов снял с куста ярко-желтый кленовый лист, поглядел, бросил.

– Знаешь, Михаил Савельич, пока об этом нам не стоит думать. На четыре десятка человек и нас с тобой хватит. Нужно будет – найдем. У меня вон Валентин Шумилов – грамотный, аккуратный парень.

Глушов честно старался ничем не обострять отношений, а когда наступили первые заморозки и лес, сбросив лист, весь сквозил, и начались холодные ветры, которым уж не стало преград, Глушов вполне оценил предусмотрительность Трофимова, потому что все равно пришлось бы делать землянки, только с той разницей, что они не успели бы просохнуть к зиме.

И еще всю осень люди, разделившись, по приказанию Глушова, на небольшие группы, собирали везде, где возможно, брошенные при отступлении советскими частями оружие и особенно боеприпасы и сносили все в лесные тайники: снаряды и мины, патроны и гранаты, пулеметы без замков и винтовки с отбитыми прикладами. А в одном месте на железнодорожном перегоне партизаны закопали в землю несколько тысяч артиллерийских снарядов больших калибров: в июле немцы разбомбили здесь состав с боеприпасами; часть взорвалась или сгорела, но треть состава осталась цела, и вагоны были лишь свалены с путей и ждали хозяина.

Здесь, по ночам, работали всем отрядом около двух недель; ободряя уставших людей, Трофимов, трудно потирая болевшие от непривычных тяжестей руки, все повторял:

– Веселее, веселее, ребята. Это же взрывчатка. В любой

момент откроем производство: свои мины, гранаты будут.

Глушов сидел, а Трофимов, пригибая голову, все ходил; из окрестных деревень вернулся разведчик Николай Дьяков, коренастый крепыш, по-крестьянски хитроватый, любивший посмешить других. Уходя на задание, он притворялся или хромым, или слепым, и делал это умело, даже у Трофимова не вызывал никакого беспокойства. Со своими липовыми бумагами он уже несколько раз пробирался прямо к немцам в логово, в Ржанск, и торговал связками лык на базаре, и один обер-лейтенант долго допытывался, что это у него за товар, а потом взял одно лыко, туго свернутое в колесико, послать на память в Германию. Это Николай Дьяков первый принес весть о каком-то неблагополучии у немцев; Ржанск за несколько дней забили ранеными; Эдик Соколкин стал принимать сводки о боях под Москвой уже после, когда удалось раздобыть аккумуляторы с немецкого грузовика, а с начала осени Николай Дьяков был единственными глазами и ушами отряда.

Сейчас он вернулся после очередного своего похода по окрестным селам и рассказывал Трофимову и Глушову о том, сколько и где видел немцев и машин, и о разговорах в деревнях, и чем торгуют на базаре в Ржанске и в районных окрестных городах, и кто где назначен старостой, и еще о многом другом, встреченном на пути, и Трофимова, да

и Глушова особенно заинтересовало сообщение о том, что на полустанок Поротово немцы свезли большое количество отобранного у населения продовольствия, которое грузят в вагоны и отправляют, по слухам, в Германию. «Хозяйственные, сукины сыны, – почти беззлобно подумал Трофимов. – В самом начале запасаются. А может, чувствуют, что дело затягивается, они же хотели скорым шагом, раз-два – и конец».

Словно угадывая мысли Трофимова, Глушов покачал головой:

– Много ли на себе унесешь?

– А почему на себе? Поротово, скорее, село, там должны быть кони. И потом, нам все равно есть надо, на себе мы будем таскать или на конной тяге. Я думаю, стоит. Морозы хорошие – нам на руку. Я сам займусь, пошлем Рогова, Почивана заранее все подготовить. Эти сделают.

– Хорошо, не возражаю. Лошадей там, конечно, найдем, а потом что с ними делать? Еще и лошадей придется кормить...

– Здесь беды нет, будем кормить. И потом лошади – сами мясо. Возможно, теплых вещей достанем, мы же – голые.

– Да, валенок, полушубков хорошо бы. Слушай, капитан, а Почиван с Роговым не очень ладят.

– Ничего, все равно должны притираться друг к другу. Пора.

– Пора, – согласился Глушов, думая о дочери. Рогов око-

лачивался возле нее, и пора к нему приглядеться. А лучше бы, если б ее совсем тут не было, зря он тогда уступил, уехала бы в Саратов к тетке, как вначале предполагалось. А теперь что? Теперь – ничего. Взрослая, ремнем не погрозишь, не поучишь – на смех поднимут.

Да, продукты действительно нужны, и это для отряда важнее, чем отношения между его дочерью и Роговым и его отцовские страхи. И Трофимов совершенно прав, нацеливаясь на Поротово; эти мысли еще больше укрепились у Глушова после успешно проведенной операции: в ней впервые участвовал весь отряд, разобрали и растащили вокруг рельсы, взорвали семафоры, стрелки, разбили аппаратуру на полустанке, спилили телефонные столбы и сожгли два десятка вагонов с зерном. И лошади нашлись, Почиван с Роговым здесь хорошенько поработали. И хотел или не хотел Глушов, ему вновь пришлось столкнуться с Трофимовым и опять пришлось отступить, и все из-за пустяка. Глушов старался во время операции держаться ближе к Трофимову, быть полезным, все что-то предлагал и советовал. Трофимов, разгоряченный удачным делом, пошутил:

– Перестань, комиссар, вертеться под ногами. Пошел бы, занялся делом. Митинг какой, что ли, провел...

Глушов засмеялся в ответ, но смех получился невеселый, вымученный, слова Трофимова больно задели Глушова, хотя он не подал виду.

Была луна, холодная и седая, и выстрелы давно умолк-

ли; партизаны быстро выносили из низеньких дощатых складов вдоль железнодорожных линий мороженые свиные туши, мешки с крупой и зерном, связки битых кур и гусей, ловко укладывали в сани, перевязывали веревками, чтобы не растерять: переговаривались довольно и оживленно, гарнизон Поротово оказался из трех десятков пожилых хозяйственников ржанской «виртшафтскоманды», наполовину их перебили, наполовину сами разбежались, и у партизан совсем не было жертв, даже никого не ранило. И еще, как на заказ, пошел снег, сначала слегка, тихо, потом с усилившимся к рассвету ветром, крепким, рвущим снежную замять, сухо секущим лошадям и людям глаза.

– Будут к Новому году у нас пироги, – весело сказал Почиван, подходя к Трофимову. – Капитан, – сказал он, – капитан! Мы нашли перо и шерсть. Тюков триста, не меньше, упаковано аккуратненько, на каждом бирочка.

– Что?

– Волну и перо. Тюками, килограмм по двадцать – тридцать, предлагаю волны тюков десять увезти, найдем каталя, глядишь, обуеет на зиму.

– А лошади есть?

– Игра стоит свеч, капитан, ей-богу. Можно?

– Смотри... Как, Глушов?

– Не против, дельная мысль. На валенки пойдет килограмма три в среднем. Центнера три надо шерсти.

– Остальное сжечь, ладно, – неожиданно взорвался Тро-

фимов. – К чертовой матери! Все сжечь!

– Сделаем.

– А может, мы ее раздадим?

– Брось, комиссар. Назавтра немцы все назад соберут, да еще перевешают людей. Все непосильное придется сжечь.

– Много не сумеем забрать. В этой войне получается как-то странно. Все время уничтожаем свое, нажитое. Так что уж сейчас скупиться?

В это время и раздался крик: «А-а, ты, значится, командир, разбей вас паралич!», и на Трофимова откуда-то из-за угла набежала длинная и тощая старуха и затрясла перед ним руками, не переставая кричать и ругаться.

Трофимов наконец понял, что кто-то из партизан забрал у нее валенки сына, который был на фронте.

– Тихо, мать, тихо, – сказал Трофимов, когда старуха, сделав короткую передышку, глотала воздух. – Валенки твои найдем, вернем, а ты все-таки придержи язык. Нехорошо ты кричишь, нельзя так, мы же советские люди, свои.

– Бандитские вы люди, а не свои! – опять закричала старуха, все пытаясь двигаться к Трофимову; тот опять осторожно, но сильно отстранил ее от себя. – Посудите нас, люди добрые! Да какой же ты свой, босяк, если у старухи последние валенки забираешь?

– Ты лучше сына вспомни, тоже сейчас не мед в казенных обмотках. Ты бы и сыну валенок пожалела...

– Так нешто ты мне сын?

– Э-э, мать, хватит, не мешай. Сказано, разберемся.

– Ты мне сейчас разберись, мне твоих обещаний не надо.

Ищи тебя потом, кобеля, как же.

– Отойди. А то прикажу силой отвести...

– Это меня-то, советскую мать-старуху? Да я тебя так отведу, у тебя в башке зазвенит. Ты не гляди, что я старая, я жердину из горожи выдерну, еще не так тебя отведу... Я тебе...

– А, черт! – не сдерживаясь больше, заорал Трофимов, и старуха попятилась. Даже Глушов никогда не слышал у Трофимова такого дикого голоса. – Мы еще, бабка, проверим, какая ты советская. Ты хочешь, может, валенки для немца оставить, а мы ноги обмороживай? А, говори, старая, говори, кому ты валенки бережешь? Эй, Почиван!

– Тю, тю, тю, – быстро сказала старуха, отступая; ветер выдувал вперед ее юбку, широкую и старую, и Трофимов отвернулся.

– Почиван, узнай фамилию. Найдешь валенки, вернуть. А мне доложить – кто там постарался.

– Сделаем, капитан.

– Обнаружите виновного, судить, и все, – вмешался Глушов, и Трофимов раздраженно кивнул и отошел в сторону.

Длинная вереница в четыре или даже больше десятка тяжело груженных саней тянулась от железнодорожных построек в мутные поля; Трофимов сквозь ветер слышал скрип полозьев.

– Начальству оставить сани? – спросил Почиван полуофициально, можно было принять и в шутку и всерьез.

– Все нагрузить, – бросил через плечо Трофимов. – И всем навьючиться, сколько может унести каждый – взять.

– Понятно.

– Заканчивай, пора уходить.

Склады горели дружно, ветер рвал, крутил на месте, и Скворцов, подпаливая последнее, дощатое строение, долго бился. Почиван торопил и побежал поглядеть, не осталось ли в бочке мазута, он вернулся с немецким котелком, из которого густо и черно капало. Они облили двери и часть стены и стали поджигать, и огонь пошел весело и ровно. Для надежности поджигали изнутри и, пока дым не мешал, грели руки.

– Так-то, брат, – улыбнулся Почиван. – Помнишь, боялся, толку не будет?

– Мало ли что я говорил.

– Здорово ты тогда болел, у тебя нагноение в середину пошло. – Почиван не сказал, что он отсасывал гной, даже фельдшеру не сказал.

– Знаю, спасибо.

– Чего там, Володька, на том свете сочтемся, – сказал Почиван, шевеля толстыми пальцами и поднося их ближе к огню. – Вот Рогова не пойму никак...

– Почему?

– Шалопай. Крутит девке голову, только один отец и не знает, что он с ней живет. Нехорошо, одна женщина и сто

мужиков.

– Не знаю, наверное, как раз и хорошо, если у них серьезно.

– Ты думаешь?

– Лучше, если девушка в таком положении с одним кем-то.

– Черт его знает, может, твоя правда.

– А что Рогов? Ну, повезло человеку, ближнему завидовать грех.

– Ладно, пора снимать посты. Идем, Володька, теперь у нас жизнь веселее станет. Слышишь, а ведь валенки Рогов взял. Я капитану не стал говорить, пожалел.

– Отчего же ты пожалел?

– Не знаю. Бабка меня разозлила, несознательная старуха. Морозиться нам, в самом деле? Да и Рогов... говорит, для Веры взял. Я, говорит, бабке после войны сторицей верну за десять пар. Специально приеду и верну.

– Идем, светло уже совсем.

Они вышли, в помещении от дыма и мазутного чада начинали слезиться глаза; Почиван снял посты, и они все взвалили на плечи по полмешка крупы и пошли в снежные поля. Скворцов остановился, задерживая других, и сказал:

– Вы смотрите, а, какие важные... Хороши!

С куста на куст по репейникам, густо торчавшим из снегов, красными пятнами перепархивали толстые, довольные снегири.

Рогов просился в разведку, но Трофимов по каким-то причинам придерживал его, и Рогову приходилось часто мерзнуть на постах; Трофимов расставил их в пяти, в десяти и даже в сорока километрах от зимовки; люди там жили неделями и больше; сменялись, возвращались на базу отряда веселые и счастливые, потому что на постах было трудно. И многие недовольно ругали Трофимова; пожалуй, действительно немцы еще не знали об отряде, и не стоило мучить людей, но Трофимов при первом же случае сухо запретил подобные разговоры и напомнил о трибунале. У него была опора из своих солдат, ядро отряда в двадцать три человека с жесткой военной дисциплиной, с неукоснительным «есть!», «я!», с беспрекословным и безоглядным подчинением любому слову Трофимова, и это уж с самого начала и на бывших людей Глушова накладывало свой отпечаток. И поэтому Рогов не задерживался в отряде, он даже на посты уходил охотно, и если бы не Вера, кажется, и совсем был бы доволен; особенно после того, как это произошло, он очень мучился; пожалуй, он впервые так сильно любил девушку, но в морозы все равно трудно быть с Верой; у нее в общей «командирской» землянке свой отдельный уголок, но ее почти невозможно застать там одну. А Почиван, ведавший всей охранной службой, как назло, всегда угонял Рогова на самые даль-

ние посты; Рогов знал, что Почиван его не любит, и уже много раз собирался поговорить с ним начистоту: из этого разговора могло ничего не получиться, и это всякий раз останавливало Рогова. С Почиваном поговорила сама Вера, и Рогова впервые за зиму под Новый год назначили на пост всего в пяти километрах от зимовки, там была небольшая теплая землянка с печуркой из дикого камня, и Вера обещала как-нибудь прийти, поэтому сейчас Рогов отстаивал уже вторую смену, а его напарник Камил Сигильдиев спал, он никак не мог перестроиться после мирного времени и сильно утомлялся.

Мороз градусов на тридцать к утру еще усилился; солнце, раскаленное, взошло слепое; холодный розоватый отсвет за-сквозил в замороженных деревьях, и совсем стало видно, до чего же студено в мире. Рогов крепко пошлепал себя в бок и в грудь, замер, прислушался: тихо, только настывшее солнце поднималось все выше, и стало тянуть по-над землей, слегка шевеля снег; тихонько вызванивали сухие стебельки лесной травы, меж ними змеилась поземка. Лес, небо, снег, солнце – все тихо, все слишком тихо, так было неделю назад, так будет до настоящего ветра – и тогда лес повеселеет, и станет теплее.

Рогову хотелось в землянку, но ему все-таки хотелось дать Сигильдиеву выспаться вволю; тогда он в любое время, когда придет Вера, уйдет из землянки на пост, а Рогов сейчас, несмотря на мороз, на несправедливость Почивана, ни о чем

не мог думать, кроме Веры, сейчас она занимала главное место в его жизни, хотя он и стыдился себе признаться, ему становилось не по себе при одной мысли, что Вера не придет. Он зверел, думая о неожиданной помехе. Вера была ему нужнее всех, он не мог без нее.

Солнце обжигало холодным блеском глаза; Рогов совсем промерз и был рад вертлявой маленькой синичке, появившейся неизвестно откуда, она упорно обследовала ветки старой осины неподалеку, Рогов перестал ходить и с затаенной радостью наблюдал за теплым живым шариком, он перекачивался с ветки на ветку. Из землянки вылез наконец Камил Сигильдиев, ошалело поглядел на белое солнце, потер ладонью бледное, в рыжей щетине лицо и стал ругаться.

– Слушай, нехорошо! – говорил он, неловко моргая, Рогову, изо рта у него вылетал парок и, сразу исчезая, оседал на бровях и на шапке. – Так свои не делают, слышишь, Рогов, ты почему меня не разбудил?! Мне стыдно, Рогов, ты всю ночь простоял? Зачем же так? Я не калека, перед лицом войны все одинаковы.

– Простоял, а тебе разве хуже, Камил? Ну, я вижу, ты на меня здорово обиделся.

– Хуже! Хуже! – опять звонко закричал Сигильдиев. – Это война, а не стихи. Здесь по порядку надо. Твоя очередь – стой, моя очередь – буду стоять, зачем такое чувство превосходства, Рогов?

– Ладно, ладно, давай вот становись и стой, а я греться

пойду, кашу сварю и спать. Ты сейчас станешь?

– Закурю вот и дальше я весь во власти снега...

– Ну, стой, сочинитель, тут на морозе особо не сочинишь. Губы пристынут, вон они у тебя побелели.

– Не пугай, ты же отстоял две смены. Иди, иди, Рогов, иди, и перестань хорохориться, и ты воином не родился. Пора и мне привыкать. Никто не знает, сколько война продлится, Рогов.

Вера пришла часа в два; Рогов спал, неловко подогнув на коротком и тесном топчане босые ноги, то и дело подтягивал их под полушубок, а они вылезали. Вера с трудом осмотрелась в слепой совершенно землянке, и Камил Сигильдиев зашел вместе с нею: погреться и больше не заходить. Он только теперь понял Рогова. «Хитрый, черт, откуда знал?» – подумал он весело и немного с завистью.

Возле каменной печурки он стал переобуваться, посушил портянки, покурил, и они с Верой шепотом, стараясь не разбудить Рогова, поговорили о делах в отряде; Вера принесла им немного свинины и свежей мороженой рыбы: партизаны нашли в лесу скованное льдом озеро и ловили много рыбы последние три дня обыкновенными вентерями.

Рогов проснулся сам, ему приснилось, что Вера пришла, и он сразу открыл глаза и услышал ее шепот. Он хотел вскочить, скосив глаза, он увидел ее возле печурки: она зябко грела руки, и Рогов определил, что она пришла недавно; опять закрыл глаза, он не выспался еще, и все закачалось, поплыло. Он приподнял голову и сказал:

– Вера, здравствуй.

– Мы тебя разбудили? Тебе не стыдно, Коля, Камил Рахимович вон говорит, ты всю ночь без смены простоял?

– А ему хуже от этого? – пробормотал Рогов, все не реша-

ясь встать и еще не проснувшись окончательно.

– Я пойду, ребятки, – громко заторопился Камил Сигильдиев, раздавил окурок, поймав недовольный взгляд Веры, смутился, поднял его и бросил в печурку на красные угли.

Вера подошла и села на топчан к Рогову. Она положила ему руку на лицо, на лоб; он поцеловал ее ладонь, молча притянул ее к себе за плечи и поцеловал в губы.

– Почему вчера не пришла? – спросил он медленно, и у нее закружилась голова оттого, что он такой большой, сильный и теплый.

– Нельзя было, – сказала она. – Никак нельзя было, я хотела, Трофимов проводил занятия по стрельбе, потом с отцом говорили.

– Обо мне?

– О нас, Рогов, – сказала она строго, целуя его. – Ругались.

– Ну, теперь проходу не даст.

– Не бойся, Рогов, тебя никто не тронет.

– А я не сказал, что боюсь. Слушай, мне это не нравится.

– Что?

– Что ты все «Рогов, Рогов!». Зачем ты меня называешь так? Иди сюда...

– Подожди...

– Нет, нет, сейчас. Ждал неделю всю, больше не могу...

Он не придет, – угадал Рогов ее мысль.

– Подожди, ну подожди, Рогов...

Она обвьяла в его руках, и потом, лежа рядом на тесном

топчане и глядя в грязный бревенчатый потолок, все молчала, не было сил встать, потому что и сейчас оставалось мучительное чувство полпути; она шла, шла и остановилась на полпути; на большее не хватило. Да, да, она любила его тело, даже вот такое, долго не мытое. У нее не было к нему отвращения, и она сейчас вспомнила, как это они впервые увиделись, и как потом она его ненавидела, избегала, и как между ними все случилось в первый раз. Ведь здесь он не виноват, она сама пошла на ту грань, через которую нельзя было; он, конечно, приставал к ней, ей казалось тогда, что он просто преследовал, но она сама шагнула дальше, чем хотела, и в тот день, солнечный и сухой, деревья теряли последнюю жиденькую листву. Она помнила, что над ними стоял дуб, еще молодой, и вся вершина его тихо шуршала вверху прожолклой, необлетевшей листвой. Она два дня вообще избегала показываться другим, особенно отцу, на глаза, благо это не представляло особой трудности: отец, занятый делами, не обращал на нее внимания. И потому она вспомнила вчерашний разговор с отцом и его необычную грубость, и ей было больно вспоминать отца таким грубым и неприятным; нет, Рогову она никогда не расскажет, как отец кричал на нее, и одно время ей так и казалось, что вот-вот он ее ударит или вообще убьет.

– Слушай, Рогов, – сказала она тихо, думая о другом. – Ты не боишься, что можешь мне надоест?

Он приподнялся на локоть, стал глядеть на нее сверху

вниз, он давно не брился, и от него пахло махоркой, и все равно он не был ей противен, нет, не был.

– Как? – спросил он медленно.

– А так, возьмешь и надоешь. Купят платье, поносят, возьмут и выбросят, хоть оно совсем не износилось. Надоело.

– Убью, Верка, если там что-нибудь... не мудри!

Она поглядела ему в глаза, далеко, отчужденно и холодно, и усмехнулась.

– Знаю, знаю, уж я тебя знаю, – сказала она, и он внезапно схватил ее за плечи и приподнял, голова у нее свисла назад, она продолжала смотреть ему прямо в глаза, не меняя выражения.

– Что ты знаешь? – спрашивал он, сердись. – Ну, что ты можешь знать?

– Пусти, – попросила она. – Ты делаешь мне больно...

– Подумаешь, – сказал он, опуская ее опять на топчан и не отрываясь от нее. – Подумаешь, – повторил он, целуя ее, и она закрыла глаза и лежала молча и неподвижно, и ему хотелось ударить ее, мучительно хотелось, и он не мог, хотя чувствовал, что, может быть, так и надо сделать. Он любил, любил ее, хотя знал, что в этот момент она не с ним. Но он не мог остановиться, и когда опять пришел в себя и увидел нависший бревенчатый потолок, он сказал:

– Прости, я не хотел...

Она кивнула, поняла.

– Не надо, ничего не говори. Я тебя прошу, устала, давай

полежим просто.

– Знаешь что, Вера... – сказал он, помолчав.

Она не ответила.

– Не приходи больше, – сказал он напряженно.

– Ну, это мое дело. Слышишь, мое дело приходиться или не приходиться. Вставай, слышишь, Рогов, вставай...

Она села, близко склонилась к лицу Рогова и затормошила его; она смеялась, поцеловала его в губы, в нос, в подбородок, в шею, возле кадыка.

– Слушай, тебя не угадаешь, Верка. Не пойму я тебя.

– И не понимай, так даже лучше. Вставай, вставай!

– Зачем?

– Не ленись. Принеси мне дров, ужин сварю. Где вы берете воду?

– Тут неподалеку ручей оказался, глубокий, повезло, не промерз, и вода вкусная.

– Сварю вам суп со свининой, ты только принеси мне дров, посуше. А то мне скоро идти. – Она видела, как у Рогова дрогнули зрачки, и сказала с тоской: – Рогов, Рогов, что же с нами будет?

– Что, что?

– Ну, вообще, с нами, со мной, например. Кто ты такой, и зачем ты? Ты когда-нибудь думал об этом?

– А ничего не будет, будет, что и было. Немцев-то под Москвой – тю-тю! Все-таки разбили.

– Разве я об этом?

– Я знаю, о чем ты. С нами все будет хорошо. Я еще не схожу с ума, как ты, мне легче.

– Просто ты глупее, Рогов, – сказала она и, смягчая свои слова, опять поцеловала его, и он засмеялся.

– Ну, ладно, пусти. Дров принесу, тут у меня запас – сухие сучья, сосновые.

Он натянул валенки, набросил полушубок и, выйдя из землянки, позвал Сигильдиева греться.

– Ладно, не замерз, – бодро отозвался Сигильдиев. – Еще часок выдержу. Ты гляди, какое небо. Ночью на сорок подскочит.

– Вот попросишь, постою.

– А может, ты, Рогов, попросишь?

– Нет, Камил, она уходит. Ей на базу нужно. Я ее только провожу немного.

– Слушай, Николай, какого черта мы здесь стоим и мерзнем? За неделю я не видел даже зайца.

– Присматривай сразу дичь покрупнее, – отозвался Рогов, ломая руками лежащий у входа в землянку сушняк. – Ты спроси нашего любимого капитана Трофимова, он знает.

– Ладно, Николай, не трогай Трофимова, не надо.

– Хорошо, договорились. Ох, черт, мороз, слышишь, Камил, а ведь сегодня в ночь – Новый год, а?

– Тебе подарок уже есть, – весело засмеялся Сигильдиев, притопывая. – Тебе нечего горевать.

– Пошел к черту, не каркай, – засмеялся Рогов и скрыл-

ся в землянке, полусогнувшись, втаскивая за собой охапку сушняка.

А Сигильдиев снова пошел по протоптанной в снегу тропинке, опять с некоторой завистью думая о Рогове, о Вере, и, неожиданно хватаясь за карабин, закричал:

– Стой! Стой! Куда вы идете, здесь нельзя. Остановитесь, я вам сказал! – еще сильнее закричал он, не в силах выдержать пристальный, неподвижный взгляд женщины, вышедшей прямо на него, из-за густых еловых зарослей. – Ответьте, кто вы, что вам здесь надо? Эй, Рогов! Рогов! – позвал он растерянно.

Она подняла руку и медленно отвела ствол карабина в сторону, Сигильдиев увидел сильно обмороженную и вспухшую руку, и женщина, заметив его испуганный взгляд, сказала:

– Отведи меня к начальству.

– Куда к начальству?

Сигильдиев оглядел женщину: она была в крестьянском полушубке и в стоптанных черных валенках; голову, вместо шаля, она закутала половиной серого солдатского одеяла, и оттого голова тоже казалась распухшей, огромной. Она молчала, не обращая на него никакого внимания, и Сигильдиев боялся, что она пойдет напрямик и придется держать ее силой и стрелять, и он еще раз прокричал: «Рогов! Рогов! Иди сюда!»

Рогов вышел, оглядывая женщину, обошел ее кругом, обтапывая снег.

– Что она говорит? – спросил он Сигильдиева.

– Просит к начальству отвести.

– Ты скажи... Руки ей надо растереть, гляди – вспухли.

– Не надо мне ничего, – сказала женщина хрипло и, обращаясь к Рогову, добавила: – Я тебя ведь помню. Ты – примак, у нас в Филипповке у Таньки Косьяновой жил.

– Тише, ты что, – сказал Рогов, оглядываясь на землянку. – Мало ли кто у кого не живет теперь. Зайди погрейся, до начальства попасть – топать да топать.

– Не привыкать, дойду.

– Постой, постой... Ты...

Она увидела в глазах Рогова испуг; он тут же попытался спрятать его.

– Павла я, Лопухова, – подтвердила женщина, и Рогов сразу вспомнил горящую избу, ее рядом с огнем, – кричащую, простоволосую.

– Пойдем в землянку, погреешься. Руки тебе надо оттереть, – сказал он, хмурясь. – Значит, жива осталась...

– Жива, видишь.

– А мы тогда только с Володькой Скворцовым и вырвались, – сказал он, плотнее запахивая полушубок на груди.

– С Владимир Степановичем? Живой тоже? Ты гляди, тоже, значит, живой... А как получилось?

Она не удивилась, не обрадовалась и спросила равнодушно; она слишком устала и вся задеревенела от холода, и после всего, что с нею было, Скворцов тоже стал чем-то дале-

ким, чужим, и если бы его никогда не было, тоже ничего бы и не изменилось.

– Шли да в Козий Лог с ним друг за другом скатились, – сказал Рогов. – В один раз у нас получилось, видать, от страха.

У Павлы, когда она слушала, было неподвижное, бесстрастное лицо, глаза она почти зажмурила; они болели от солнечного резкого блеска снегов; она подумала, а стоит ли ей идти дальше, может, нужно повернуть назад.

Пойди она назад, все бы вмиг кончилось, она знала, и когда она вторично подняла глаза на Рогова, тот понял и торопливее, чем нужно, сказал:

– Пошли, пошли, ладно. Обогреешься, отведут тебя, куда надо. Ты всякий там сор из головы долой, время теперь, не до того.

Вечером она сидела в штабной землянке, расстегнув телогрейку, скинув с головы одеяло. Грязные, свалявшиеся космы волос она кое-как пригладила, расчесала изуродованными пальцами и сидела, сложив руки на коленях, в уголке, на самодельной, поскрипывающей при каждом движении табуретке. Под телогрейкой у нее оказался немецкий офицерский френч со следами сорванных погон и рваная крестьянская юбка в сборку; она бесстрастно глядела, не обращая внимания на боль в руках, а они у нее не могли не болеть, на заходивших в землянку партизан, на дежурного за столом, и он несколько раз предлагал ей сделать перевязку. Не поворачивая к нему головы, она коротко уронила:

– Не надо, начальника подожду.

Ей только хотелось спать, и когда в штаб пришел Трофимов, чисто выбритый в этот вечер и довольный (из одного села привезли несколько саней муки, мяса и картошки, которая, правда, сильно подмерзла), Павла и на него не обратила внимания, и Трофимов, потирая руки и расстегивая полшубок, спросил дежурного:

– Как дела, Васин? От Рогова? Где она?

– От Рогова, товарищ капитан. Сигильдиев привел, вот она, – и понизил голос: – Руки у нее того, поглядите...

Трофимов подошел к Павле:

– Здравствуйте, мамаша, я вас слушаю...

Его остановил ее взгляд, у него появилось чувство, словно он стекло, за которым она видела свое, чего ему никогда не увидеть и не узнать.

– Сколько вам лет, мамаша? – спросил Трофимов чуть растерянно, чтобы что-нибудь спросить.

– Двадцать три...

– Дела. – Трофимов смешался, никак не мог попасть в нужный тон.

– Ты ей хоть говори, хоть нет, – молчит, – сказал дежурный.

Пытаясь справиться с чувством неуверенности и раздражения, Трофимов приказал:

– Сходи-ка, Васин, приведи Толухина.

– Фельдшера?

– Я же сказал – Толухина! – глядя в упор, не мигая, повысил голос Трофимов, и Васин удивленно вскинул руку к виску.

– Сейчас сделаю.

Трофимов поморщился, его раздражала сугубо нелепая смесь гражданского и военного, зачем прикладывать руку, если ответ не по форме и одежда далека от уставной. Подождав немного, стараясь привыкнуть к присутствию странной женщины, он положил шапку на стол перед собой и сел.

– Ну, что вы молчите? – спросил он. – Зачем вам нужно к начальству? Я командир отряда. А вы кто? Рассказывайте.

Павла впервые, как села на табуретку, шевельнулась, слегка сдвинула ноги в больших сапогах.

– Я из Филипповки, – сказала она ровным простуженным голосом, и Трофимов некоторое время прислушивался к нему, уже после того, как она замолчала. С ней даже в отдалении было тяжело, и росло чувство, словно тебя разглядывают из темноты, разглядывает неизвестно кто и зачем.

– Все жители Филипповки расстреляны, у нас есть такие сведения.

– Я из Филипповки, Павла Лопухова, – опять сказала она ровным, без малейшего оттенка голосом. – Павла Алексеевна Лопухова меня звать.

– Хорошо. – Трофимов подумал, что нужно справиться у Скворцова. – Зачем вы пришли?

– Пришла вот, совсем пришла.

– То есть как понимать – совсем? – удивился Трофимов. – Нам в отряд не нужны женщины. Потом, мы вас не знаем. Кто может подтвердить, что это вы? Ведь не корыто с бельем, война, понимаете?

– Тут Скворцов у вас, его спросите... Ну, нет баб, а теперь будет. Как без бабы? Я постираю, сварю, приберу – лишние руки не помешают.

– Откуда вы знаете, что Скворцов здесь?

– Знаю.

Трофимов пожал плечами и замолчал. Он часто потом вспоминал этот короткий разговор с нею, уже тогда он знал,

что будет по ее, и для нее не важно, что думает он, Трофимов, главное для нее свое решение, и она может сидеть вот так на стуле неделями и молчать; вывези ее из лесу, она вернется и раз и десять, но от решения своего не отступится. Она не сказала так, но Трофимов понял; он старался не глядеть на ее мокнувшие в тепле землянки обмороженные руки; потом, и через месяц, и через два, когда она уже стирала и штопала всем в отряде одежду или возилась на кухне, он избегал с нею встречаться, хотя она, вымытая, подлечившаяся и одетая более подходяще, стала даже привлекательной. Но Трофимов часто думал о ней, она не выходила у него из головы, и стоило ему остаться одному, она вспоминалась, и Трофимов никак не мог от этого избавиться. Бросалась в глаза лишь одна странность – Павла раз и навсегда отказалась рубить дрова, что за нее с охотой делали мужчины, хотя она, казалось, не различала их, и для нее все они, в том числе и Трофимов, оставались на одно лицо. Она почти ни с кем не разговаривала, и к ней постепенно привыкли, так привыкают один к другому спящие долгое время рядом солдаты. Павла убирала землянки и научилась делать перевязки; по хозяйству она управлялась лучше десятка мужчин, вместе взятых, и, когда она перевязывала, раненые меньше стонали и матерились – у нее оказались необыкновенно ловкие и осторожные руки. Уходили на задание группы, иногда весь отряд, возвращались, приносили раненых, хоронили убитых, Павла молча провожала и встречала, молча стояла у могильных ям,

и никто никогда не видел у нее на глазах слезы. Она незаметно становилась для отряда чем-то вроде хлеба, и, возвращаясь после удачного дела, все искали ее глазами и, отыскав, неприметно улыбались, теплели.

Оставшись один, Трофимов долго сидел за столом, курил и глядел на свои руки. Дежурный время от времени подбрасывал в печурку дрова; он старался не мешать и ходил на цыпочках. Трофимов взглянул на часы, через два с половиной часа время перешагнет в новый, сорок второй, и где-нибудь будут пить, смеяться, жечь свечи и поздравлять друг друга. И Трофимов вспомнил Москву, старый дом на Софийской, где он родился и вырос, пустой сейчас. Ему было приятно вспоминать, как скрипят половицы и бьют настенные часы, в почерневшем от времени футляре черного дерева, они принадлежали еще прабабушке и ни разу не сдавались в ремонт. Семьи военных были отправлены из пограничных гарнизонов уже после первых столкновений с немцами; Трофимов хотел в эту минуту, чтобы и жена и дочь встречали Новый год в Москве, на Софийской, в доме, где он родился и вырос, и он отчетливо представлял себе, что они сейчас могут делать. Зажигают, наверное, елку, Соня, разбросав конфеты, сидит, бросив все дела, задумавшись. А Ирочка тоже не спит, вторично ждет деда-мороза, к ней уже он приходил днем. Но, несмотря на уговоры матери, она не ляжет спать, пока часы не пробьют двенадцать и взрослые за столом не начнут говорить всякие веселые и счастливые глупости. И тогда, убедившись, что дед-мороз взрослых не любит, не пришел, она

пойдет спать, а Соня растерянно всплеснет руками: «Смотри, совсем взрослая!» А сейчас до Нового года еще два часа, и Соня думает о нем; Ирочка прижмется к ней головенкой в колени и спросит о папе, и Соня будет придумывать, как папа воюет с немцами, и как он думает о своей дочке и ее маме, и что он обязательно пришлет им скоро большой (Соня так и скажет: «бо-ольшо-ой») подарок, и у Ирочки станут мечтательными смешные с рыжинкой глаза, она умеет глядеть не мигая в рот матери, ловить каждое слово, а потом запрыгает от счастья на одной ноге, а Соня отвернется в угол и поплачет, чтобы не видели ни дочь, ни свекровь – старая сдержанная машинистка строительного треста Валентина Петровна Трофимова, «бабушка Валя» (Трофимов так и не мог привыкнуть к этому новому званию матери); мать все равно заметит, подойдет к Соне чуть позже, возьмет за плечи: «Не надо, Соня, слезами мы ему не поможем». У него хорошая мать, умница, сдержанная, простая. Случись что, Валентина Петровна не даст им впасть в отчаяние, а Соня к этому часто склонна, она умеет напридумать себе всяких страхов, даже там, где их нет.

Трофимову не хотелось думать о делах, о затеянной Глушовым общей встрече Нового года, о готовящихся кострах; Трофимов разрешил по простой причине: они находились действительно в такой лесной глуши, где свет можно заметить только с неба, но немцы по ночам совершенно не летали, а под Новый год тем более никаких сюрпризов ожи-

дать не приходилось. И людям нужно вздохнуть свободнее, и Трофимов разрешил зажечь два-три костра, и сделать еще то, что хотел и предлагал сделать Глушов.

Трофимов даже вздрогнул: ему показалось, что эта Павла Лопухова из Филипповки никуда не ушла, а сидит по-прежнему в землянке и глядит из своего угла на него. Он усмехнулся – табуретка пуста, и только дежурный, присев у печурки, неумело зашивал на себе отставшую от ворота нижнюю рубаху, низко держа голову, и время от времени, забываясь, трудно и шумно вздыхал от непривычной работы. И, сам того не желая, Трофимов стал думать о женщине, с которой только что разговаривал, и чем больше думал, тем сильнее нарастало в нем внутреннее беспокойство; ведь вот он, кадровый военный, оказался совершенно в непривычных условиях, и вынужден отвечать за очень разных людей, а знает он их плохо; солдат ведь одно, а вот такая двадцатитрехлетняя – «Алексеевна», только что сидевшая перед ним, совсем другое, и он обязан все учитывать и решать за всех.

Трофимов радовался возможности побыть одному, теперь это случалось редко, дежурный старательно штопал свою рубаху, если бы он не так шумно вздыхал, его присутствие не чувствовалось бы. И внутреннее беспокойство, возникшее от встречи с неприятной, странной женщиной, все нарастало, его раздражали сейчас даже привычные стены землянки, сделанные для большей светлости из толстых неошкуренных березовых жердей, тусклый сосновый потолок; само-

дельная лампа без стекла, просто литровая консервная банка, потрескивая соляжкой, густо чадила – не могли придумать машину поумнее, вон потолок совсем почернел. Трофимов вдруг – уж в который раз! – вспомнил, как его батальон лежал у дороги, отрыв позиции, на пологом, безымянном холме, в спелой пшенице, через холм проходила дорога, а им приказано было не пускать немцев по дороге, через сорок километров находилась станция Ворскла, и там спешно шла погрузка не то войск, не то оборудования какого-то очень важного завода; Трофимов тогда так и не понял, что же именно. Он уяснил себе лишь одно: батальон, выведенный им сравнительно с малым уроном из окружения, теперь обречен – он только старался не показать этого другим, ведь война есть война и приказ есть приказ. Он тогда не знал, что станции, на которой должно грузиться нечто важное, больше не существует, ее еще за день раньше превратили в груду кирпича и железного лома вначале самолеты, а затем танки немцев; но приказ есть приказ, и только потом, когда от его батальона почти ничего не осталось и когда он узнал, что станцию сдали еще раньше, чем ему поступил приказ «не пускать», он рыдал, как последняя истеричка; ему и теперь стыдно вспоминать; от контузии он две недели почти не видел и не слышал; в эти леса он забрел с остатком батальона: двадцать шесть из четырехсот восьмидесяти, трое вскоре умерли от ран.

Он вспомнил и свою просьбу к бойцам оставить его где-

нибудь по пути, а самим идти дальше, и тогда один из них, Никита Мартынов из Челябинска, угрюмо сказал: «А куда идти-то дальше?» Когда рыли землянки, Мартынов ворочал потом за троих, крепок парень.

Трофимов сидел, положив на стол кулаки и откинувшись на стену спиной, улыбаясь, он потрогал себя за правым ухом, там еще и сейчас оставалась большая проплешина и неровный, бугристый шрам – здорово его тогда погладило осколком, волчком завертелся, говорят, буквально из-под гусениц выхватил его Якушкин – командир первого взвода третьей роты; странно, что Трофимов до сих пор никак не может вспомнить этого Якушкина, убитого на том же холме у дороги.

Трофимов закрыл глаза; перед появлением танков стояла тогда тяжелая тишина августа, переспевшая густая пшеница местами полегла, на холме ее вытоптали, перемешали с землей и песком, и бойцы брали пересохшие колосья, терли их в задубевших от постоянных земляных работ ладонях, веяли, бросали тяжелые, сладкие зерна в рот и, двигая челюстями, долго жевали. А потом кто-то тонко и с явным испугом прокричал:

– Та-анки! Ви-ижу та-анки!

Когда-нибудь там поставят памятник, но никто не будет знать, что это были смерти из-за неорганизованности и хаоса, четыре с лишним сотни жизней, молодые, отличные солдаты; а он, Трофимов, до сих пор не может оправиться, внут-

ренне выровняться, все ему чудится, что и он виноват. Он знал, что с него никогда и никто не спросит, он имел право приказывать умирать, и это право давали ему не только государство, но и совесть, но и необходимость защищать свою жизнь, жизни своей матери, жены и дочери, и еще жизни многих и многих людей, но от этого ему не легче. И он в какой-то мере ответствен за гибель сотен людей, он теперь, прежде чем решить что-нибудь, все старался обдумать заранее, и если нужно было посылать на опасное дело, он ненавидел себя за невольный страх за чужие жизни, и выпади такая возможность, он согласился бы ходить и все делать сам. И эта двойственность, эта необходимость долга и какая-то почти истерическая, ненормальная для времени жалость, подтачивала его изнутри. И в то же время заставляла думать в каждом отдельном случае, что за человек перед ним и чем он живет и почему сказал: «Будет сделано», и почему пошел, хотя знал не хуже его, Трофимова, что может быть обратное, и ничего не будет сделано, а будет смерть.

И когда приходят такие, как Павла, что он может? Он видел бесцельные смерти, даже не десятки, а сотни, стальные траки беззвучно давили живые извивающиеся человеческие тела, и он ничего не мог переменить, что же можно теперь? Почему все идут и идут к нему, и откуда набраться сил; у него теперь осталась вера только в себя.

Трофимов повернул голову, угадывая в полумраке, нетерпеливо поглядел на Глушова; тот минуты две стоял перед

Трофимовым и ждал.

– Ты что? – спросил Трофимов, поднимаясь и нахлобучивая шапку.

– Нужно сказать бойцам несколько слов, ты командир. Все уже готовы, через пятнадцать минут полночь.

– Хорошо, хорошо, – заторопился Трофимов, он не готовился говорить, но ему хотелось поскорее выбраться из землянки, из-под взгляда Глушова.

Он вышел наружу, застегивая верхние крючки полушубка на ходу и отчаянно придумывая, что сказать людям, и сразу остановился. Он увидел шеренги людей, выстроены – по-военному, прямо перед штабной землянкой; здесь, за исключением постов, собрались все восемьдесят шесть человек, стояли в четыре шеренги, и морозный снег поскрипывал под ногами. Была по-новогоднему светлая ночь, слабый ветер шевелил ветки деревьев; Трофимов еще раз посмотрел на людей, и у него сдавило горло. Что он им скажет? Что он может им сказать?

У него одно нерассуждающее: больше нельзя уступить ни шагу! И он знает, почему нельзя, но если он попытается объяснить другим, получится неумело, с душевными заиканиями. Нельзя говорить о самом дорогом, если боль у горла подступила и не дает дышать и не находишь самых простых слов.

– Ребята, послушайте. – Он взялся рукою за ремень. – Через несколько минут закончится этот год, тяжелый год и

страшный. – Он помолчал, слушая свой голос и удивляясь тому, что еще может говорить. – Новый год в хорошее время встречают вином, водкой, а вот у нас такого добра нет. А то бы мы тоже выпили. И за тех, кого уже нет, и за тех, кому завтра идти в бой. Да, всех нас сроднила одна беда. Мне хочется пожелать одного, ребята: пусть Новый год, сорок второй год, и начнется и закончится в нашу пользу, слышите, это, пусть в маленькой мере, все же зависит и от нас с вами.

«Что еще им сказать?» – Трофимов поднес руку к лицу, глядя на часы, и все стояли очень тихо и ждали, и Трофимов не мог понять, почему так тихо все стоят, и все сильнее сжимал пальцами ремень.

– Зажгите костры, – сказал он, насильно отрывая руку, и из рядов выбежали несколько человек к заранее заготовленным кострам, стараясь опередить друг друга, и береста занялась быстро и дымно, и огонь с веселым треском пополз по хворосту в одном месте, в другом, в третьем.

И сразу все заговорили, задвигались, засмеялись, Трофимов махнул рукой «разойдись», и все хлынули к кострам, к огню и закричали «ура-а!», и было это по-детски доверчиво и просто. Один из партизан стал наигрывать на губах и кричать: «Давай, Колька, давай в круг!» Запиликала гармоника. Он знал их всех восемьдесят шесть, с их болезнями и слабостями, он их любил сейчас смутно и сильно, так, очевидно, любит все живое своих детенышей, но он знал, что в любое время, если будет необходимо, он пошлет их умирать.

Кто-то подошел к нему сзади и позвал:

– Товарищ командир!

– Я слушаю, – сказал он, не оборачиваясь; он узнал голос

Почивана. – Ну, что ты, Почиван?

– Меня Михаил Савельевич, комиссар, прислал. Просит зайти вас в командирскую землянку.

– Зачем?

– Пойдемте, – замялся Почиван. – Так, немного сообразили, по стопочке нашлось, берегли к этому дню, товарищ командир. Человек пять собралось, вас ждут.

Трофимову не хотелось уходить от костров, он сказал, что придет позднее, но Почиван не отставал, и они пошли и выпили скверного дешевого рома из немецкой фляжки; она досталась Почивану во время налета на станцию. Почиван, радостно ухмыляясь, полез в свой угол и достал еще одну фляжку, с обрывком ремешка.

– Васька Болотин из второго взвода подарил. Я ему зажигалку отдал – уникальная вещь, увидел, не отстаёт: отдай и отдай. В форме пистолета с человеческой головой. Огонь изо рта горит. Ну, братцы...

Как не хотелось Трофимову уходить от костров, так теперь ему хотелось напиться; он опять выпил ром с привкусом жженого зерна, и Глушов выпил, а Почиван, прежде чем выпить, выдохнул из себя воздух и цедил сквозь зубы медленно, было видно, что он наслаждается. И по какому-то всеобщему молчаливому уговору никто не говорил о делах; Глу-

шов видел, как Вера оделась у себя за перегородкой и ушла, ничего никому не сказав. Трофимов заметил настороженный взгляд Глушова, брошенный вслед дочери, и пожалел его, потому что здесь права отца кончились, и начались другие, и так было всегда, даже сейчас, когда мир жесток и страшен.

Павла ощупью выбралась из землянки, где ее оставил на ночь фельдшер Толухин, она с трудом накинула на голову одеяло забинтованными руками и еще с большим трудом открыла дверь. Горели костры, ярко и весело горели, и глаза у нее сделались широкими и испуганными; красноватые отблески металась по снегу, и высокий серый дым хорошо виднелся в небе под луной; партизаны пели, самые молодые, разыгравшись, прыгали через костры, и Павла стояла и глядела, не решаясь отойти от двери.

Потом раздалась команда, и все стали расходиться, а костры погасили. Павла вернулась в землянку, в темноте нащупала свой топчан и легла; в глазах у нее еще вспыхивали отблески костров, и ей было тяжело и душно, в груди жгло, и она прямыми, негнущимися от перевязки пальцами все пыталась оттянуть ворот, ей хотелось выпить воды, и она думала пойти опять на улицу и взять снега, но никак не могла встать. Скоро вернулся фельдшер Толухин, чуть навеселе, он мурлыкал под нос себе что-то занозистое и бойкое; Павла попросила его дать воды, и он напоил ее, придерживая голову, все мурлыкая и думая о своем.

– Вот-вот, – сказал он. – Ты, женщина, не тревожься. Вот я сейчас свет зажгу в лазарете, солярку только мне в лазарет дают да штабу. Значит, можно судить, лазарет второе по

важности место на войне. Вот такая она, жизнь, наступила, Павла, Павла Алексеевна. А имен у нас больше не осталось. Скажут, боец такой-то – и топай, куда пошлют. А тебе не холодно? Можно печку истопить, дров много.

В грустном жестком свете его маленькая приземистая фигура двигалась по землянке, возбужденный кострами, воспоминаниями, песнями, той порцией рома, которая ему досталась, он никак не мог успокоиться и уgomониться. Павле хотелось попросить фельдшера погасить свет и перестать бегать по землянке; ей бы сейчас остаться в темноте и тишине. Зажав рот забинтованными ладонями, она пыталась удерживать подступившие рыдания; фельдшер услышал, постоял молча, подошел и сел рядом. И она, не открывая глаз, почувствовала у себя на голове его теплую и большую ладонь и никак не могла остановить судороги в горле.

– Ты скажи, может, тебе что нужно? Или болит?

Она плакала, не открывая глаз.

– Ну, успокойся, – уговаривал фельдшер ее, как ребенка. – Хочешь еще воды?

– Дай.

Она пила из его рук, захлебываясь и расплескивая воду, и он, присматриваясь к ней, качал головой и пытался заставить себя улыбнуться, чтобы ободрить. Потом он лежал в противоположном углу на своем топчане и не спал; он знал, что и она не спит, и боялся заговорить.

– Ты почему не спишь? – спросил он наконец, не выдер-

жав, он хотел спросить о другом, о том, что это с нею стряслось и отчего она такая вот дикая и трудная. Но в последний момент он понял, что об этом нельзя спрашивать, и не спросил, заснуть он не мог, разная чертовщина лезла в голову.

Павла, устраивая болевшие руки, заскрипела топчаном.

– А ты, доктор, слышь, не спишь? – спросила она тихо. – Знаешь такого здесь – Скворцова?

Фельдшер, начинавший дремать, вздрогнул, услышав ее голос.

– Скворцова? Как же, знаю, я его лечил, грудное ранение. Навылет. Коварная, скажу тебе, штука, абсцесс начинался. Почиван все с ним возился, выхаживал. Ничего – на ногах. Сейчас как раз на задании. Подрывник. Часто на задания ходит. Все они обучаются здесь, вот человек себе новую профессию изобрел – убивать. А ты их лечи, да еще на тебя же и кричат порой, словно это я их прострелил, вот так. Какой из меня доктор? Ничего ведь серьезного не могу, операцию какую. Наши сейчас всюду хирурга ищут.

Фельдшер совсем разговорился, и уже подступало следующее зимнее утро – первое утро тысяча девятьсот сорок второго года, от мороза сухого и звонкого, в тридцать шесть градусов, сучья на деревьях постреливали, и лес замер; солнце вставало маленькое, слепое от мороза и в воздухе висела белая пыль, как туман.

А дня через четыре Павла, забывшись под утро тяжелым, коротким сном, проснулась как от толчка под чьим-то взгля-

дом и увидела Скворцова, и стала натягивать к подбородку полушубок, под которым спала. Скворцов шагнул к ней, присел рядом на отпиленный неровно еловый чурбак и, стаскивая с головы шапку, сказал медленно:

– Видишь, вот все-таки встретились. Здравствуй, Павла.

– Здравствуй. Что глядишь так, или не узнаешь?

– Узнаю. Сегодня вернулся, ребята сказали, вот прибежал.

Он действительно прибежал, видно было по тому, как он дышал неровно и часто, в руках он держал неловко завернутый кулек с темным коричневым сахаром и трофейным кофе-эрзацем. Все это он положил рядом на чурбачок, и Павла, не глядя, кивнула.

– Ну, спасибо тебе.

Он глядел на нее и не знал, о чем говорить, и от этого и ему и ей было трудно. Что-то враждебное, чужое поднималось в ней при виде его здорового, обветренного лица. Отнятое у нее уже нельзя было вернуть, и Скворцов был для нее лишь ненужным и мучительным напоминанием. Она тоже хотела его увидеть, когда узнала, что он здесь, но теперь лучше бы он поскорее ушел, она хотела только остаться одна, закрыть глаза и ни о чем не думать. И, чувствуя ее враждебность и как раз помня прошлое, он все пересиливал себя и не хотел уходить, ему хотелось что-то такое сделать, как-то напомнить о себе, о жизни раньше; и делал он это от почти бессознательного сопротивления мужчины женскому безразличию и отрицанию.

– Слушай, Павла, ну что ты такая?

– Какая?

Окно землянки проморозилось насквозь, Павла повернула к окну голову, с усилием сказала:

– Знаешь, ты мне ничего не говори, мочи нету сейчас у меня, Володя. Как вот выжгло меня всю. Ты уходи, не могу я сейчас с тобой говорить. Я было остывать стала, а услышала про тебя...

– Да я... Ладно, отдыхай, – торопливо оборвал он себя, увидев как-то близко ее неподвижные затвердевшие губы.

После его ухода она не изменила позы и не разжала губ, но ей стало легче, и она снова заснула.

В январе держались сильные холода, в лесу насыпало много снега, все тонуло в глубоких сухих сугробах, и землянки после каждой метели приходилось откапывать. Было сравнительно спокойно, если не считать нескольких вылазок, предпринятых партизанами на железных дорогах: два раза разбирали полотно, спилили несколько десятков телефонных столбов. Все больше и больше завязывались связи с населением. Трофимов несколько раз засылал разведчиков в Ржанск, но пока безуспешно.

А в конце февраля ясно почувствовалась весна, и даже воздух над лесами приобрел другую голубизну – какую-то более теплую и просторную, а к полудню, когда пригревало, начинало резче пахнуть хвоей и еловой корой. Метели стали чаще, и в их характере тоже чувствовалась весна – фельдшер Толухин наварил хвойного отвару в железной бочке и поил партизан, а для примера первым, морщась, выпивал полкружки пахучей, вяжущей во рту жидкости.

Трофимов, посоветовавшись с Глушовым, с Почиваном и командирами взводов, решил вновь сократить выдачу продуктов к весне; паек был и без того мал, и на это решались трудно. Но весной, естественно, подвоз продуктов на то время, пока стают снега и вскрыются реки, совсем прекратится, и поэтому нужно было создать месяца на полтора-два запас;

в этот день Трофимов провел очередное занятие с группой подрывников, их было пятеро, и среди них – Скворцов; он показывал, как ставить мины на грунтовых дорогах и на железнодорожном полотне. После занятий он оставил Скворцова, повернувшись к несильному влажному ветру спиной, они закурили.

– Я, кажется, не очень хорошо сегодня делаю, – сказал Скворцов, догадываясь. – Ей-богу, товарищ командир. Я все время тренируюсь.

– Да нет, я не затем тебя оставил, слушай, а почему ты выбрал именно это?

– Не знаю. Мне кажется, здесь больше всего можно сделать. Правда, я сугубо штатский человек, но ведь мы работаем в окружении немцев. Если рассуждать логически, моя хромота – скорее защита, если хотите, чем недостаток. Меньше подозрений.

– Я давно хотел спросить, отчего это?

– Давно очень, в детстве. Полез за сорочьими яйцами, свалился. Кость срослась неправильно, и в армию потому не взяли. Одна нога короче другой, но бегаю я хорошо.

– Да, конечно, главное – верить, что ты нужен, – сказал Трофимов, и они помолчали: неподалеку ржала лошадь, и густой бас орал: «Но-но! черт! балуй!»

– Весной в отряд придет много людей, – сказал почему-то Скворцов.

– А вы виделись уже со своей землячкой? – спросил, меж-

ду прочим, Трофимов, но Скворцову почему-то бросилось в глаза то заметное усилие, с которым он это произнес, и он внутренне весь подобрался.

– С Павлой? С Павлой Лопуховой? – поправился он. – Виделись. Кажется, она, я да Юрка Петлин и остались трое от всей деревни.

– Петлин – славный мальчик.

– Счастье, что мы тогда в лесу столкнулись, он ведь уже в одиночку пытался действовать. Пропал бы, пожалуй.

Скворцов не хотел говорить о Павле, и Трофимов это тоже заметил; он подождал и снова спросил, уже настойчивее:

– Ну а женщина? Ты ведь ее хорошо знаешь, или как?

– Хорошо. У нее сын погиб, когда немцы деревню жгли. Я видел. Трудно рассказывать, сгорел мальчонка в избе. Я ее хорошо знаю, не беспокойтесь, не подведет, говорю вам, как о себе.

– Вы рассказывайте. – Трофимов сильно толкнул плечом молодой дубок и, глядя на посыпавшийся сверху снег, повторил жестко, почти потребовал: – Рассказывайте. А то у нас гуманист пошел – крови не выносит.

– Есть вещи, которые нельзя пересказывать, – сказал Скворцов, отворачиваясь. – От этого, может, и станешь злее, а сколько от человека потеряешь? Знаете, когда все в газетах, – одно, а в жизни на самом деле... Я видел, как горел ребенок, а потом... потом мы с Роговым вернулись и видели всех в ямах, мертвых... Вы думаете, после этого я смогу по-

жалеть? Вы не беспокойтесь о Павле. С нею сейчас непросто, только она не подведет. Смотрите... что-то там такое...

Из лесу вынырнула группа в три человека, двое на лыжах, третий, тяжело нагруженный, шел, проваливаясь чуть ли не до пояса; выбравшись из рыхлого снега на утрамбованную площадку, он несколько мгновений обессиленно постоял, покачиваясь, и затем двинулся дальше. Это был чужой, еще издали Трофимов отметил, что он едва держится на ногах, и вообще находится на том пределе, когда человек за себя не отвечает. У него были уставшие воспаленные глаза, он неприязненно поглядел на Трофимова и Скворцова, когда ему сказали «стой!».

– Вот, товарищ командир, сволочь одну застучали, – доложил один из лыжников – курносый и худой. – Обходим, значит, свой участок, нет ли где следов и прочее все, ну, значит, слышим – немец бормочет. Вот так, значит...

– Вы не очень гостеприимны. Я падаю с ног, – перебил его незнакомец. – Дайте где-нибудь сесть.

Трофимов взглянул на него и опять отвел глаза, словно ничего не слышал, и тогда незнакомец решительно сбросил с себя рюкзак, выпустил из руки продолговатый, обмотанный чем-то белым ящик и со стоном опустился прямо на снег.

– Встать! – крикнул ему второй лыжник и схватился за карабин: незнакомец быстро сунул в его сторону увесистую дулю и остался сидеть, блаженно прищутив глаза; Трофимов махнул рукой: «пусть сидит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.